

Валерий
Михайлов

ИВОЛГА, ЛЕСА ОТШЕЛЬНИЦА

(книга о Николае Заболоцком)

Глава восемнадцатая ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИЗНИ

НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ

В один из январских дней Николай Леонидович Степанов вернулся к себе домой на Моховую раньше обычного, в обеденное время. Он обитал тогда в «тылах» Литературного музея напротив Ленинской библиотеки, занимая с семьёй бывшую барскую кухню и комнатку для повара при ней. У лестницы на поленнице дров сидел какой-то человек в мешковатом одеянии. Мужчина обернулся на шаги – и Степанов сразу же узнал его – Коля Заболоцкий!

«Это был он. Похудевший, но сохранивший свой детский румянец. В очках, в какой-то куртке наподобие бушлата, тёплой ушанке, он показался усталым, чуть стесняющимся своего вида. Мы не виделись восемь лет».

Воспоминания Степанова лаконичны и скупы:

«Николай Алексеевич никогда не жаловался на безвинно перенесённые им тяжёлые испытания и лишения. Он почти никогда не говорил о них, даже в разговорах со мной избегал упоминать о пережитом в заключении. <...> Он лишь несколько раз говорил мне, что если бы остался на общих работах в тайге, а не попал чертёжником в контору, то, без сомнения, погиб бы».

Подробности в мемуарном очерке в основном бытовые – о том, что спать поэту приходилось на обеденном столе (на полу холодно), что аккуратист Заболоцкий педантично складывал на ночь свою одежду, а рано утром был уже такой же чистый, вымытый и розовый, как всегда. Степанов заметил, что друга мучают припадки стенократии, – впоследствии они обернулись инфарктом... Но главное – настроением он был бодр и неопределённость положения отнюдь не угнетала его: «<...> мы жили очень интенсивной, даже весёлой жизнью».

На Моховую заглядывали друзья – повидать Заболоцкого, и сам он ходил на встречи к старым товарищам. Одним из первых пришёл давний приятель по ленинградскому Детгизу Иракий Андроников с женой Вивой (Вивианой Абелевной). Перевидался со всеми – с Кавериныными, Шварцами, Чиковани. А сами два Николая не раз ходили через Каменный мост в «дом на набережной» – в гости к Тихоновым. В радушном и шумном доме Николая Семёновича и



Марьи Константиновны кто только не собирался по вечерам: «альпинисты, приезжие грузины, полярные лётчики, иногда люди непонятных профессий и склонностей».

Друзья выхлопотали Заболоцкому разрешение, позволяющее обедать в ресторане Клуба писателей. Однажды в зале, где свободных мест было с избытком, к его столу подошёл холёный, полноватый человек с подносом и попросил позволения отобедать рядом. Заболоцкий сразу же его узнал, хотя видел много лет назад да и знакомство-то было случайным: Лесючевский. Рецензент НКВД, отправивший на расстрел Бориса Корнилова и упёкший в лагерь Заболоцкого (кто знает, сколько было на его счету подобных рецензий), уселся напротив и с аппетитом принялся за обед, бесцеремонно разглядывая при этом своего соседа. Поэту, конечно, стало не по себе. Благо, тут в зал вошла чета Гитовичей – Александр и Сильва, которые специально приехали из Ленинграда в Москву, чтобы встретиться с другом. Они были поражены: доносчик и его жертва – за одним столом!.. «Какая-то бессмыслица, абсурд, дичь! – писала потом в воспоминаниях С. С. Гитович. – <...> Сочетание Заболоцкого с Лесючевским повергает нас в полнейший столбняк. Но, быстро придя в себя, мы радостно бросаемся к Николаю Алексеевичу, нам уже нет дела ни до кого на свете».

Конечно, чуть позже, когда они остались втроём, Гитовичи стали расспрашивать Заболоцкого, как же такое случилось?

«Заболоцкий сказал:

– Вот и решайте сами психологическую задачу, зачем ему понадобилось подсаживаться ко мне. По-видимому, ему хотелось убедиться воочию, что я не призрак и даже настолько реален, что ем суп.

Встреча с Лесючевским была зловещим, символическим напоминанием о том, что вернувшийся из заключения поэт будет отныне находиться под постоянной слежкой и что жизнь его отнюдь не станет свободной, лёгкой и безмятежной» (Никита Заболоцкий «Жизнь Н. А. Заболоцкого»).

В принципе поэт всё правильно понял – да и прежде прекрасно понимал: для органов «враг народа» не бывает бывшим. Не потому ли в компаниях он был всегда насторожен и молчалив и даже наедине с друзьями ничего лишнего не говорил: и стены слышат!..

Органы госбезопасности как раз тогда наконец отреагировали на ходатайство Тихонова, Эренбурга, Маршака и Чагина, отправленные на имя Л. П. Берия. 9 февраля 1945 года заместитель Наркома госбезопасности генерал-лейтенант С. И. Огольцов утвердил решение касаясь поэта Заболоцкого. Наркомат, как сказано в документе,

«ПОЛАГАЛ БЫ:

Разрешить Заболоцкому и его семье проживание в г. Ленинграде, и одновременно ориентировать УНКГБ по г. Ленинграду о взятии Заболоцкого под агентурное наблюдение».

За поэтом в Москве, конечно же, с самого начала следили.

По-видимому, его ознакомили – скорее всего, в общих чертах – с решением властей. Но к тому времени он понял: возвращаться в Ленинград нет смысла: вся литературная и издательская жизнь уже переместилась в столицу. 16 февраля Заболоцкий обратился с письмом-заявлением на имя заместителя Наркома госбезопасности Огольцова:

«Прошу Вас разрешить мне и моей семье проживание в гор. Москве, а не в Ленинграде, ввиду того, что у меня есть возможность поселиться в черте гор. Москвы, в то время как в Ленинграде в настоящее время жилплощади не имею.

Моя семья из трёх человек: жена Заболоцкая Екатерина Васильевна (рожд. 1906 г.), сын Никита (рожд. 1932 г.), дочь Наталья (рожд. 1937 г.) – и проживает в настоящее время в г. Караганде».

Резолюция на этом заявлении была такой:

« (...) Можно согласиться. Мы ему разрешили жить в Ленинграде, куда он ехать не желает. Договориться с НКВД по этому вопросу. *Огольцов* (...)».

* * *

Писатель Николай Чуковский познакомился с Николаем Заболоцким ещё в конце двадцатых годов в Ленинграде, но это знакомство было поверхностным. Узнав, что поэт вернулся из лагерей и живёт теперь у Степанова «без прописки на каких-то птичьих и очень опасных правах», он захотел навестить его.

«В то время человек, объявленный “врагом народа”, а потом всё-таки вернувшийся из лагеря, был странной, страшной, диковинной редкостью, и мне таких ещё не случалось видеть. Я понимал, что многие остерегались возобновления знакомства с таким человеком, и это меня ещё подзадоривало. Ведь не испугался же Степанов приютить у себя. Мне показалось, что стыдно не пойти, – впоследствии вспоминал Николай Чуковский. – Появлением Заболоцкого в Москве был очень взволнован мой тогдашний хороший знакомый, поэт-переводчик Семён Израилевич Липкин. Он никогда не видел Заболоцкого, но был поклонником его стихов и очень хотел с ним познакомиться. И мы решили пойти с ним вдвоём.

Липкин недавно перед тем демобилизовался, но ещё носил флотскую шинель. Был декабрьский (точнее январский или февральский. – *В. М.*) день с мокрым снегом на улицах. Степановы жили тогда на Моховой, в доме Литературного музея. Они занимали крохотную чуланообразную квартиру, вход в которую был прямо со двора. Мы постучали. Дверь открыл Заболоцкий. Увидев нас, он вышел на крыльцо и осторожно прикрыл дверь у себя за спиной.

Меня он узнал не сразу. Вид двух мужчин в военной форме, по-видимому, смутил его, о чём я догадался гораздо позже. На нём была вылинявшая цветная рубашка поверх брюк, и на дворе ему было холодно; однако впустить нас он медлил. Я не видел его восемь лет, но он показался мне мало изменившимся. В молодости благодаря полноте и солидности его принимали за человека средних лет; теперь он был человеком средних лет. Он, может быть, похудел, но не очень. Узнав меня, он поздоровался сдержанно. Я представил ему Липкина. Липкин объяснил, что знает и любит его стихи. Поколебавшись, Заболоцкий пригласил нас войти.

Из Степановых дома была только старушка мать. Разговор в комнате продолжался так же принуждённо, как на дворе. Заболоцкий задал мне несколько вопросов о моей жизни, о моей семье. Его жена и дети были ещё в Караганде, – они приехали туда к нему, когда его выпустили из лагеря и разрешили жить в Казахстане. Он прожил в Караганде год, работая в какой-то канцелярии. И вот приехал один в Москву. Останется ли он здесь – неизвестно. Я его спросил, не собирается ли он вернуться в Ленинград. Он ответил, внезапно покраснев:

– Нет! В Ленинград – никогда!

Больше никаких вопросов мы ему не задавали. Помню, выяснилось, что он спал у Степановых на обеденном столе. Николай Алексеевич немного оттаял, благодарил нас за посещение, но мы продолжали чувствовать себя неловко и поспешили уйти. (...)»

После Степанова приютил его у себя Ираклий Андроников – тоже его старый друг по Ленинграду. Житьё по чужим комнатёнкам не давало ему возможности выписать из Караганды семью и делало его положение безвыходным».

Командировка Заболоцкого подходила к концу, а дела никак не двигались. Лишь в начале марта его товарищам удалось устроить чтение перевода «Слова о полку Игореве». Сначала, 4 марта, оно прошло в Клубе писателей, а затем, 14 марта, – в Литературном музее.

На вечер в писательский Клубе собрались и поклонники «Столбцов», и учёные знатоки древнерусской письменности; были и те, кто просто хотел взглянуть на человека, вернувшегося оттуда, откуда мало кто возвращается. В кратком вступительном слове Заболоцкий сказал, что он прежде всего художник, и стремился к одному, чтобы «Слово» было понятно всем, хорошо читалось и запоминалось; тем не менее его перевод – отнюдь не вольное переложение памятника, а предельно приближенное к точному значению оригинала. Почти все выступавшие на обсуждении: академик Н. К. Гудзий, филологи Г. А. Гуковский, В. А. Дынник, писатели П. Г. Антокольский, В. Б. Шкловский одобрили работу Заболоцкого. Лишь А. К. Югов, автор собственного перевода «Слова», выступил с резкой критикой, которая, впрочем, прозвучала не слишком убедительно. Историк литературы Ирина Николаевна Томашевская, поздравляя Заболоцкого, принародно обняла и расцеловала его – приветствуя, как написал в биографии отца его сын, не только его перевод, но и возвращение поэта к нормальной жизни. «Какое-то официальное лицо потом заметило ей, что такие чувства, да ещё выраженные в общественном месте, совсем даже неуместны по отношению к недавнему заключённому “врагу народа”».

В печати – в «Литературной газете» и «Вечерней Москве» – появились небольшие заметки о чтении нового перевода «Слова о полку Игореве». Сообщения были благожелательными, но, конечно же, такое крупное событие в литературной жизни требовало куда как большего отклика.

Впоследствии Вениамин Каверин писал в своём очерке «Счастье таланта» о том, что гениальный памятник древнерусской словесности, в сущности, никогда не читался. Его только изучали любители или же студенты-филологи перед экзаменом по древнерусской литературе. В переложении Заболоцкого «Слово» сделалось увлекательным чтением.

«Здесь дело не только в том, что Заболоцкому удалось передать с исчерпывающей точностью смысл каждого слова – в этом легко убедиться, положив рядом оригинал и перевод. И не в том, что ему удалось передать трагедию Руси, потерпевшей одно из тяжких своих поражений, и даже не в том, что он понял “Слово” как интересное чтение и сумел передать читателю это ощущение. Заболоцкий сделал то, что до него не удавалось другим переводчикам, среди которых были великие поэты. Он перевёл “Слово” на язык современной поэзии.

Это могло быть сделано только в наше время, хотя бы потому, что внутренне перевод “Слова” связан не только с поэтической деятельностью самого Заболоцкого. Он входит как неотъемлемое целое в ту работу, которой лучшие наши поэты отдали годы.

И подумать только, что когда в 1946 году появился перевод “Слова о полку Игореве”, нигде – ни в газетах, ни в журналах – не появилось ни строки! Можно было, пожалуй, вообразить, что в нашей поэзии подвиги совершаются едва ли не ежедневно!»

Очень точно определил место этого перевода в творческой судьбе самого Николая Заболоцкого поэт Лев Озеров:

«После “Слова” всё окажется поэту под силу: и проникновенная лирическая нота, и высокие своды народного эпоса. Творчество обретает богатырский размах – не зря мечтой последних лет поэта было создание свода русских былин.

именно свода, то есть единого эпического сказания (успел выковать только одно звено – “Исцеление Ильи Муромца”)).

В конце марта – начале апреля Заболоцкому пришлось покинуть своё пристанище на Моховой. Пришёл дворник, предупредил: дом по соседству с Кремлём, посторонним тут жить нельзя, тем более людям без прописки. Потом заявила милиция, потребовала документы. Поэт объяснил: разрешение на прописку получено, все бумаги на оформлении. Служебные люди позвонили в паспортный отдел: всё верно. Лишь благодаря телефону Заболоцкого не задержали. Но велели покинуть город в течение суток. А Степанова как хозяйина квартиры, предоставившего кров «нежелательному элементу», оштрафовали.

Николай Заболоцкий срочно сменил адрес – переехал к Ираклию Андроникову. Впоследствии тот вспоминал, как они с женой перевезли к себе в Спасопесковский переулок своего товарища, ожидающего московской прописки:

«Время шло. Каждый день ответ обещали дать завтра. Жили мы тогда в одной комнате с десятилетней дочкой и няней. Николай Алексеевич гостил у нас, если меня не подводит память, с середины марта 1946 года до Майского праздника. На Майские дни его “взяли” к себе Мария Константиновна и Николай Семёнович Тихоновы. От них он снова вернулся к нам.

Это были для нас хорошие дни. <...>

У нас часто бывали гости. Ещё чаще мы уходили в гости сами. А Заболоцкий садился решать задачки для нашей дочери. Только однажды, я помню, мы были все вместе у Бориса Леонидовича Пастернака, и Заболоцкий читал ему стихи последнего времени.

Наконец – это было уже в начале второй половины мая – Николай Алексеевич поселился в городке писателей Переделкино, к нему приехала семья. И нас разделило пространство в двадцать пять километров».

ПЕРЕДЕЛКИНО

Лев Озеров вспоминает:

«Дело было в 1946 году, в журнале “Октябрь”, где я в ту пору ведал отделом поэзии.

Седой, худощавый, тщательно скрывающий свою болезненность Василий Павлович Ильенков – член редколлегии журнала, неизменно внимательный и чуткий, – без слов положил однажды на мой стол рукопись, аккуратную и разборчивую. Выделялось название: “Слово о полку Игореве”. Это была именно не машинопись, а рукопись. Поваяло какой-то старомодностью. Я перелистал рукопись и посмотрел на последнюю страницу.

– Заболоцкий?! – удивился я.

– Он здесь, живёт в моей переделкинской даче, – тихо произнёс Ильенков и закашлялся.

Пока хриплый звук его кашля выталкивался из глубин лёгких, я ещё раз успел перелистать рукопись.

– Поглядите внимательно. Я лично читал несколько раз. Поэзия! О ней надо иногда вспоминать, печатая стихи, – иронично сказал взыскательный Василий Павлович.

До этого Заболоцкий и Ильенков в моём сознании не сочетались. Любопытно!

Через несколько дней Ильенков появился в редакции вместе с Заболоцким. Николай Алексеевич сразу же показался мне человеком внятным и ясным в общении, таким же, как и его рукопись».

Озеров принялся читать Заболоцкому его строки, «с их мощной живописью», то из «Горийской симфонии», то из «Столбцов». Ему запомнилось, как быстро менялось в ответ бледное лицо поэта: сначала оно осветилось улыбкой, потом там попеременно мелькнули недоумение, понимание, ирония, благодарность. Наконец Озеров перестал декламировать и просто сказал:

«— “Слово” – прекрасно. Постараюсь убедить начальство, что надо немедленно печатать. <...>

Заболоцкий поблагодарил, затем молча встал и вышел».

Редактор «Октября» Фёдор Панфёров, прослушав перевод в чтении сотрудника, думал недолго:

«— <...> “Слово” печатаем. <...>

На редколлегии всё повторилось сначала. Успех “Слова” был несомненным, голосования не потребовалось».

...Что до писателя Ильенкова, то он ныне забыт, – если про него иной раз вспоминают, то лишь как об отце известного философа 1960–1970-х годов Эвальда Ильенкова. А в своё время Василий Павлович был довольно известным прозаиком, автором искренних и простых рассказов, нескольких романов, лауреатом Сталинской премии. Он был родом из семьи священника, получил неплохое по тем временам духовное и светское образование. После революции вступил в партию, работал журналистом, служил в РАППе; в годы войны – корреспондент главной армейской газеты «Красная звезда».

С Николаем Заболоцким Ильенкова познакомила Ирина Николаевна Томашевская. Как видно, писатели быстро сошлись: прозаик часто приезжал к поэту в Переделкино, где они подолгу беседовали. Содержание их разговоров осталось неизвестным: ни тот, ни другой об этом никогда не говорили. Понятно, им было, что рассказать друг другу: Ильенков, семью годами старше Заболоцкого, прошёл войну, а Заболоцкий имел за плечами лагерь...

Многих писателей Ильенков тогда изумил тем, что предоставил кров в общему-то незнакомому человеку, – но для самого Василия Павловича это было делом естественным.

Николай Корнеевич Чуковский вряд ли знал о том, что московская милиция приказала Заболоцкому в двадцать четыре часа убраться из города, однако хорошо понимал: долго скитаться по чужим углам поэт просто не мог, а никакого выхода не предвиделось...

«И вдруг весной 1946 года я узнал, – пишет он, – что писатель Ильенков решил ему поселиться в своей просторной даче в Переделкино.

Это был отважный и удивительный поступок, тем более удивительный, что Ильенков не только не принадлежал к числу старых друзей Заболоцкого, но не был с ним даже знаком».

Они оказались соседями по дачам.

Николай Корнеевич и Марина Николаевна Чуковские тоже сделали для поэта доброе дело: нашли одну пожилую москвичку и уговорили её прописать Заболоцкого в своей квартире, чтобы избавить его от превратностей нелегальной жизни в столице.

Марина Чуковская оставила небольшие воспоминания о Заболоцком. Её особенно поразил один случай, произошедший в начале 1946 года, когда поэт появился в Москве. «<...> он как-то пришёл к нам. Степенно пил чай, степенно закусывал бог знает какой послевоенной едой. А ведь сытым вряд ли был... Рассказывал о семье, оставленной в Караганде. В Николае Алексеевиче прежде всего бросалось в глаза его наружное спокойствие, неторопливость, полное отсутствие какой бы то ни было

экзальтации. Казалось, ровное и спокойное состояние духа не покидает его. А что было внутри – не знаю... Близко к своей душе он не очень-то подпускал.

Мой двухлетний сынишка во все глаза глядел на незнакомого дядю. И вдруг протянул Николаю Алексеевичу сухарь:

– Дядя, на...

Николай Алексеевич улыбнулся. Блеснула золотая короночка на переднем зубе.

– Спасибо! – как взрослого, поблагодарил он ребёнка и, привстав, крепко пожал ему ручку».

Когда годы спустя Марина Николаевна прочла стихотворение «Это было давно», она сразу же припомнила этот сухарь, протянутый младенцем-сыном поэту: не этот ли «ничтожный случай запал ему в душу»?.. Разумеется, она не могла тогда знать о письме Заболоцкого к сыну Никите 1944 года, где говорилось о поминальной милостыне на сельском кладбище, что подала ему крестьянка.

Стихотворение «Это было давно» написано в 1957 году. Вполне возможно, что Заболоцкий помнил и этот детский сухарик, когда писал строки:

...И, бросая перо, в кабинете
Всё он бродит один
И пытается сердцем понять,
То, что могут понять
Только старые люди и дети.

По закону парных случаев ему дважды подали милостыню – рукой старухи и рукой ребёнка...

«Поселившись в чужой пустой даче, Николай Алексеевич начал вить гнездо. Прежде всего он нанял человека и вместе с ним вскопал в саду участок под огород и посадил картошку. Эта работа продолжалась несколько дней, в течение которых Николай Алексеевич трудился от зари до зари, переворачивая землю лопатой. Помню, меня это несколько удивило, – вспоминал Николай Чуковский. – Я и сам, как и он, не имел в Москве жилья и жил с женой и детьми в пустой отцовской даче. Как и у него тогда, мои литературные заработки носили случайный характер и были крайне скудны. И всё-таки я рассчитывал только на литературные заработки и огорода не заводил. Я сказал ему об этом.

– Нет, – ответил он, – положиться можно только на свою картошку.

Я понял, до какой степени он, выйдя из лагеря, чувствовал себя неустойчиво. Он знал, какая тень продолжала лежать на нём, что эта тень будет долго мешать ему вернуться к профессиональной литературной работе, не обольщался тем, что ему удалось получить кое-какую переводную работу, и готовился ко всему».

Николаю Леонидовичу Степанову запомнилось, как в самом начале своей переделкинской жизни они с Заболоцким пошли в гости к Борису Пастернаку. В разные годы Заболоцкий по-разному относился к его поэзии. Несомненно одно, стихи Пастернака военного и послевоенного времени он очень ценил, – недаром уже в конце жизни советовал молодому поэту Андрею Сергееву читать его последние стихи: ««...» это, конечно, лучшее из всего, что он написал; пропала нарочитость, а ведь Пастернак остался, – подумайте об этом, это пример поучительный». Вполне возможно, что об этой самой перемене Заболоцкий и хотел поговорить с Борисом Леонидовичем. Однако серьёзного разговора наедине не получилось. У Пастернака были гости: Константин Федин и Николай Погодин. Жёны ещё не перехали на дачи, и застолье было чисто мужским, с обильной выпивкой. Говорили о какой-то

пьесе Погодина. «Федин был строгий, красный. Пастернак был весёлый, смеялся добродушно и заразительно. <...> Пили они, каждый, дай Бог, – пишет Степанов, которого удивило количество напитков, поданных к ужину. – Лишь Погодин понемногу мрачнел и становился молчаливее. Пастернак и Федин сохраняли оживлённость и несколько кокетливое изящество. Николай Алексеевич довольно быстро пьянел и тоже постепенно мрачнел». Словом, ожидаемой беседы с поэтом у него не получилось... Степанов рано покинул застолье, а Заболоцкий пришёл только к утру, «разрумяненный и не вполне твёрдо стоящий на ногах».

По убеждению Степанова, это был случайный и исключительный эпизод из переделкинской жизни его друга, который обычно не позволял себе такого времяпрепровождения – «и по причине отсутствия средств, и по соображению самодисциплины».

На даче Ильенкова Заболоцкий значительно переработал карагандинский текст перевода «Слова о полку Игореве» – основательно изучив в столичных библиотеках те научные материалы, которые были ему недоступны в Караганде. К тому же он учёл замечания специалистов по древнерусской литературе, которые были ему сделаны на обсуждениях. Спустя несколько лет Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал о переводе Заболоцкого, что он – «<...> несомненно, лучший из существующих, лучший своей поэтической силой».

* * *

В Переделкино Заболоцкий отдыхал душой – может, впервые после долгих лет испытаний и лишений. Лесная тишина, янтарные корабельные сосны, родниковой чистоты воздух. Была весна; с высоких ветвей лилось пение невидимых птиц и радостное их щебетание...

Тут был другой мир, бесконечно далёкий от московской сутолоки, напоённый покоем и вечной жизнью земли и небес. Он начинался сразу же с крохотной загородной станции, где Заболоцкий высаживался из пригородного поезда, идущего с Киевского вокзала. Поэт, с наслаждением вдыхая запахи хвойной свежести, шагал по тропе мимо сосен вдоль железнодорожного полотна, потом сворачивал в глубину лесного массива, огибая сельский погост. Справа на пригорке золотился куполами старинный храм, слева – нежно зеленели заросли лиственного леса: молодых берёзок, осинок, ольхи, тополей. Тропа немного спускалась, и он по деревянному мостику переходил неслышную реку Сетунь, в заводях которой важно плавали сизо-золотистые селезни и неприметные, цвета палой листвы утки. По давней привычке Николай Алексеевич приглядывался к окружающей природе, подмечая белёсые цветы придорожной крапивы, выводок утят на речной глади, ведомый довольной матерью-уткой, белоснежные черёмухи, в гущине которых щёлкал соловей. Подходя к своей даче, поэт уже сбрасывал с плеч утомление, что наваливалось за день в городе...

В три-четыре месяца московской жизни ему удалось добиться почти невозможного – того, что недавно он и представить себе не мог...

28 апреля 1946 года он писал жене:

«Милая моя Катя!

Вчера мне сообщили, что документы о проживании нашем в Москве подписаны и в Караганду отправлена телеграмма о выдаче тебе и детям пропуска на въезд в Москву. Что касается меня, то сейчас я буду заниматься переменной своих документов на московские и пропиской здесь. Это уже технические дела, – самое главное сделано всё. В членах Союза я также восстановлен. Нечего и говорить, что я вполне доволен: не зря прошло то время, которое я здесь провёл.

Так как мои издательские дела совсем ещё не оформлены и я по-настоящему ещё и не занимался ими, то мне приходится делать долги. На днях тебе отправлена телеграфом вторая тысяча рублей. К середине мая вышло деньги на выезд, так как самому мне, видимо, не придётся ехать за вами. От Союза будет телеграмма в Карагандинский Обком партии, и вам устроят проезд в прямом вагоне. <...>

Здесь меня знают, любят и ценят. Мне в ожидании пришлось вести очень сложную жизнь, но мне очень помогли друзья, и теперь очень всё хорошо. В частности М. К. Тихонова, которая очень любит и ценит тебя, сделала для нас немало. Меня знают и любят самые неожиданные люди, и это очень приятно. Действительно, это не преувеличивали, когда писали нам в письмах, что меня знают. Ну, обо всём этом поговорим потом. Как я рад, Катя, что скоро тебе будет полегче, что ты успокоишься за меня, что мы будем получше жить! Конечно, не всё сразу наладится, но всё будет постепенно. Ты много заслужила, и, может быть, теперь судьба хотя отчасти тебя вознаградит. <...>

Тебя все так ждут и все тебя так любят! И я втайне горжусь тобой, когда меня спрашивают:

– Где вы её такую достали? <...>

Крепко целую тебя и детей. <...>

Твой *Коля*.

В июне семья была уже с ним в Переделкино...

СВЕТАЕТ – ПОРА!..

Среди всей этой, в общем-то большей частью бытовой, суеты по обустройству какого-никакого московского гнезда, по возобновлению своей переводческой деятельности, которая приносила бы устойчивый заработок, у Заболоцкого – быть может, неожиданно для него самого – стали проклёвываться, как почки по весне на оттаявшей ветке, собственные стихи.

Чуть ли не восемь лет молчания – лагерная немота – ежедневный труд выживания – обуза чертёжной рутины... Он и сам уже зарекался писать стихи, что принесли ему и семье больше горя, чем радости. Правда, о последнем знала только жена. Конечно, это говорено было в сердцах, – да и кому не известно, что зарекаются как раз тогда, когда мучительно и больше всего на свете желают именно этого...

Первым его стихотворением после многолетнего молчания было «Утро», помеченное сначала 16 апреля 1946 года, а затем, в Своде стихотворений 1948 года, – 3 мая.

Петух запеваёт, светает, пора!

В лесу под ногами гора серебра. <...>

Образ рассвета – и нового этапа его поэтического творчества.

Тут всё пронизано символикой, чуть ли не каждая строка. Поэт – воин, чудом уцелевший в сражении; он прислушивается и к природе – и к своей собственной душе:

Там чёрных деревьев *стоят батальоны,*
Там ёлки как пики, как *выстрелы – клёны,*
Их корни как шкворни, сучки как *стропила,*
Их ветры ласкают, им светят *светила.*

Там дятлы, качаясь *на дубе сыром,*

С утра вырубает своим топором

*Угрюмые ноты из книги дубрав,
Короткие головы в плечи вобрав. <...>*

Если в «Столбцах» *прямые лысые мужья* сидели как *выстрел из ружья*, то теперь как *выстрел – клёны*: вечная природа-жизнь побеждает игру воображения. Жизнь – не озорство, не сатира: жизнь – это всерьёз.

Стук дятла отнюдь не угрюм, он весел, деловит, – *угрюмы же* – воспоминания о прошлом... Одновременно дятел – метроном, он отстукивает время...

*Рождённый пустыней,
Колёблется звук <...>.*

Пустыня недавней неволи наконец-то ожила звуком – стихами, песней.

*Колёблется синий
На нитке паук. <...>*

Кто он, этот паук – соглядатай утра? Так ли он страшен?..

*Колёблется воздух,
Прозрачен и чист,
В сияющих звёздах
Колёблется лист.*

Лист – это само его, новое, живое и свежее, стихотворение. Звёзды в лучах рас-света, конечно, гаснут и глазу не видны – но поэзия всегда купается в их сиянии.

И, разумеется, давние спутницы его стихов – птицы – тоже тут:

*И птицы, одетые в светлые шлемы,
Сидят на воротах забытой поэмы <...>.*

Наступает день – и вот показывается муза, обновлённая, юная, радостная, – она в образе безымянной и, пожалуй что, незнакомой девочки, словно бы только что проснувшейся от сна:

*И девочка в речке играет нагая
И смотрит на небо, смеясь и мигая. <...>*

И рефреном:

*Петух запекает, светает, пора!
В лесу под ногами гора серебра.*

Жизнь – драгоценна. *Пора* – снова жить, творить, любить!..

...Кто-то, возможно, спросит: а почему паук – синий, синих пауков-де не бывает?

Синий – потому что на ярком солнце чёрное отливает синевою.

И ещё синий – густо-голубой – любимый цвет Третьего отделения («И вы, мундиры голубые...»), и затем всех последующих органов безопасности – условно говоря, динамовцев. (Кто-то ведь пел Лермонтова – необычно серьёзным голосом

– ещё недавно, в неволе, на Алтае – вечером, на пороге сельской халупы: «Выхожу один я на дорогу...»)

Синий – могло быть написано и бессознательно: по толчку-импульсу гениальной интуиции: слишком резкий эпитет – и единственно тут верный.

ВЕСНА ПОСЛЕВОЕННАЯ

Долго наступало это *утро* – но пришло; и звук, рождённый пустыней, запечатлелся в слове.

Пафос первого, после вынужденной немоты, стихотворения Заболоцкого сдержан, трезв, прозрачен, чист и вполне отчётлив: он предвещает новое слово. И в последующих стихах весны 1946 года это слово появляется на свет – живёт, поёт, пророчит, радуется, торжествует:

И, играя громами, в белом облаке катится слово,
И сияющий дождь на счастливые рвётся цветы.
(«Гроза»)

В рогах быка опять запела лира,
Пастушьей флейтой стала кость орла,
И понял ты живую прелесть мира
И отделил добро его от зла.

И сквозь покой пространства мирового,
До самых звёзд прошёл девятый вал...
Откройся, мысль! Стань музыкою, слово,
Ударь в сердца, чтоб мир торжествовал!
(«Бетховен»)

Начинай серенаду, скворец!
Сквозь литавры и бубны истории,
Ты – наш первый весенний певец
Из берёзовой консерватории.

Открывай представленья, свистун!
Запрокинься головкою розовой,
Разрывая сияние струн
В самом горле у рожи берёзовой.

Я и сам бы стараться горазд,
Да шепнула мне бабочка-странница:
– Кто бывает весною горласт,
Тот без голоса к лету останется.
(«Уступи мне, скворец, уголок»)

С безоглядной откровенностью и невиданной прежде у него щедростью Заболоцкий выплёскивает изнутри своё лирическое начало, которое он столько лет таил в душе, не давая ему ходу:

С опрокинутым в небо лицом,
С головой непокрытой,
Он торчит у ворот,
Этот проклятый богом старик.

Целый день он поёт,
И напев его грустно-сердитый,
Ударяя в сердца,
Поражает прохожих на миг. <...>

И боюсь я подумать,
Что где-то у края природы
Я такой же слепец
С опрокинутым в небо лицом.
Лишь во мраке души
Наблюдаю я вешние воды,
Собеседую с ними
Только в горестном сердце моём.

О, с каким я трудом
Наблюдаю земные предметы,
Весь в тумане привычек,
Невнимательный, суетный, злой!
Эти песни мои –
Сколько раз они в мире пропеты!
Где найти мне слова
Для возвышенной песни живой?

И куда ты влечёшь меня,
Тёмная грозная муза,
По великим дорогам
Необъятной отчизны моей?
Никогда, никогда
Не искал я с тобою союза,
Никогда не хотел
Подчиниться я власти твоей, –

Ты сама меня выбрала,
И сама ты мне душу пронзила,
Ты сама указала мне
На великое чудо земли...
Пой же, старый слепец!
Ночь подходит. Ночные светила,
Повторяя тебя,
Равнодушно сияют вдали.
(«Слепой»)

Заболоцкий снова, как в натурфилософской молодости, вспоминает великое единство всех живых существ на земле и учительское первенство человека в его взаимосвязи с природой:

Вы слышите, как перед зеркалом речек,
Под листьями ивы, под лапами ели,
Как маленький Гамлет, рыдает кузнечик,
Не в силах от вашей уйти канители?

Опять ты, природа, меня обманула,
Опять провела меня за нос, как сводня!
Во имя чего среди ливня и гула
Опять, как безумный, брожу я сегодня?
В который ты раз мне твердишь, потаскуха,
Что здесь, на пороге всеобщего тленья,
Не место бессмертным иллюзиям духа,
Что жизнь продолжается только мгновенье!
Вот так я тебе и поверил! Покуда
Не вытряхнут душу из этого тела,
*Едва ли иного достоин я чуда,
Чем то, от которого сердце запело.*
*Мы, люди, – хозяева этого мира,
Его мудрецы и его педагоги,
Затем и поёт Оссианова лира
Над чащею леса, у края берлоги.
От моря до моря, от края до края
Мы учим и пестуем младшего брата.
И бабочки, в солнечном свете играя,
Садятся на лысое темя Сократа.*
(«Читайте, деревья, стихи Гезиода»)

В первую послевоенную весну Николай Заболоцкий как поэт заново возродился. В его стихах открыто зазвучала музыка, поразительная по своей искренности и красоте. Музыка у него была и раньше – в «Столбцах» и поэмах тридцатых годов, – но прежде она была другая – изломанная игрой воображения, настроенного на гротеск, перегруженная мыслью и оттого суховатая, резкая; в ней почти не было природного естества, гармонии, мелодии. Теперь всё стало не так: стихи Заболоцкого словно бы запели, и музыка полилась в слове свободно, самозабвенно. Лучшим среди шедевров, что созданы весной 1946 года, да, наверное, и вершиной всей его лирики стало стихотворение «В этой роще берёзовой».

Наталия Роскина вспоминает в своём очерке о Заболоцком: он с гордостью обратил её внимание на то, что стихотворение «Иволга» (как оно первоначально называлось) «написано таким размером, как ни одно стихотворение в русской поэзии». Разумеется, дело совсем не в этом, хотя размер, действительно, очень хорош. Дело в другом, гораздо более важном: это произведение, во всей его лирической полноте, говорит нечто сокровенно-истинное как о душе и о судьбе самого Николая Заболоцкого, так и о судьбе мира и жизни на земле:

В этой роще берёзовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиною
Льются листья с высоких ветвей, –
Спой мне, иволга, песню пустынную,
Песню жизни моей.

Пролетев над поляною
И людей увидав с высоты,

Избрала деревянную
Неприметную дудочку ты,
Чтобы в свежести утренней,
Посетив человеческое жильё,
Целомудренно бедной заутренней
Встретить утро моё.

Но ведь в жизни солдаты мы,
И уже на пределах ума
Содрогаются атомы,
Белым вихрем взметая дома.
Как безумные мельницы,
Машут войны крылами вокруг.
Где ж ты, иволга, леса отшельница?
Что ты смолкла, мой друг?

Окружённая взрывами,
Над рекой, где чернеет камыш,
Ты летишь над обрывами,
Над руинами смерти летишь.
Молчаливая странница,
Ты меня провожаешь на бой,
И смертельное облако тянется
Над твоей головой.

За великими реками
Встанет солнце, и в утренней мгле
С опалёнными веками
Припаду я, убитый, к земле.
Крикнув бешеным вороном,
Весь дрожа, замолчит пулемёт.
И тогда в моём сердце разорванном
Голос твой запоёт.

И над рощей берёзовой,
Над берёзовой рощей моей,
Где лавиной розовой
Льются листья с высоких ветвей,
Где под каплей божественной
Холодеет кусочек цветка, –
Встанет утро победы торжественной
На века.

* * *

Николай Корнеевич Чуковский, сосед Заболоцкого по даче, хорошо запомнил, каким был поэт в ту весну 1946 года. Приведём самый яркий отрывок из его мемуарного очерка.

«Он в то время был ещё очень силен физически и замечательно умело орудовал лопатой и топором. Помню, достал он дрова – метровые берёзовые чурбаки страшной толщины. Он расставил их, как солдат – целое войско, – и стал показывать

мне, как их надо колоть, чтобы они разваливались с одного удара. Это искусство было не совсем безызвестно и мне, я выклянчил у него колун и постарался доказать, что и я не лыком шит. Мы оба вошли в азарт и хвастались друг перед другом. Каждый чурбан, прежде чем бить, нужно было понять, потому что успех удара зависит от расположения суков. В этом понимании он превосходил меня – у меня был опыт войны, а у него опыт лагерей, и я видел, что его опыт покрепче моего. Я стал отставать, и он был очень доволен. С каждым ударом румянец у него на щеках разрастался, и скоро лицо его пылало, как солнце. Он улыбался и впервые показался мне почти счастливым. Тот гнёт, который лежал у него на душе, как бы слегка поддался, оттаял.

Вообще в нём в то время жило страстное желание уюта, покоя, мира, счастья. Он не знал, кончились ли уже его испытания, и не позволял себе в это верить. Он не смел надеяться, но надежда на счастье росла в нём бурно, неудержимо. Жил он на втором этаже, в самой маленькой комнате дачи, почти чулане, где ничего не было, кроме стола, кровати и стула. Чистота и аккуратность царствовали в этой комнатке – кровать постелена по-девичьи, книги и бумаги разложены на столе с необыкновенной тщательностью. Окно выходило в молодую листву берёз. Берёзовая роща неизъяснимой прелести, полная птиц, подступала к самой даче Ильенкова. Николай Алексеевич бесконечно любовался этой рощей, улыбался, когда смотрел на неё. Однажды, когда я зашёл к нему в комнатку, он усадил меня на кровать, сам сел на стул и прочитал мне своё новое стихотворение, которое начиналось так:

«В этой роще берёзовой...» <...>

Это стихотворение, щемящее, нежное, поразило меня тем, чего не было в прежних стихах Заболоцкого, – музыкальностью. В Переделкине он стал писать много – после восьмилетнего перерыва. Его новые стихи резко отличались от старых; они ничего не потеряли, кроме разве юношеского озорства, но приобрели пронзительность боли, и нежность, и, главное, необычайную музыкальность. Написав стихотворение, он шёл ко мне, потому что я был ближайший сосед, которому можно было его прочитать. Меня его стихи восхищали, и я тут же с горячностью высказывал своё восхищение. Но сам он восхищался далеко не всеми своими стихотворениями и многие из них выбрасывал. Я никак не мог понять, чем он руководствуется при отборе, да, признаться, не понимаю и сейчас. <...>».

В тогдашней литературе эти лирические шедевры Николая Заболоцкого оказались «непроходными» – большинство из них пришли к читателю лишь десятилетие спустя.

«ЖИВАЯ ЛЮДСКАЯ ДУША...»

Ежедневная жизнь Николая Алексеевича Заболоцкого в подмосковном писательском посёлке меньше всего походила на дачный отдых. Житейские хлопоты, упорный труд в комнатке-кабинете – одна работа сменялась другой. Среди степенно прогуливающих по тенистым улочкам Переделкино маститых мастеров слова: Федина и Каверина, Всеволода Иванова и Катаева, равно как и других, – Заболоцкого невозможно было бы встретить. Гулять попусту он не любил да и вообще не понимал, к чему это? Дела частенько выдёргивали Заболоцкого из его дачной келейки под чердаком, и он тогда шагал на станцию, ехал на пригородном паровичке в столицу, а вечером, измотанный московским сутолпищем, возвращался тем же путём домой, порой опрокинув с устатку рюмку-другую в пристанционном буфете. Проходя мимо кладбища на сосновом взгорке, он всякий раз видел у дороги недавнюю могилу лётчика, защищавшего в 1941-м Москву: потемневший

деревянный пропеллер на постаменте, в обрывках траурных лент с неразличимыми уже словами. Кто он был, тот погибший воин? Наверняка молодой парень, толком и не успевший пожить...

Много людских судеб прошло за минувшие годы перед глазами поэта: далеко не одной трагедии он был свидетель и на Дальнем Востоке, и в алтайской степи, и в Караганде. Прежде – в дерзкой питерской молодости – Николай не очень-то различал предметы и живые существа, смотрел будто бы сквозь них – о чём прямо говорит его alter ego Лодейников: «я различаю только знаки». И сам поэт видел не столько конкретных людей, с их неповторимыми чертами, сколько некие *знаки*, условные выразители человеческих характеров. Ни в столбцах, ни в натурфилософских поэмах по-настоящему живых персонажей в общем-то нет – их заменяют яркие шаржированные маски, условные фигуры, обобщённые функции человек. Возможно, лишь близкие товарищи и друзья были для молодого Заболоцкого вполне полнокровными живыми людьми, не затронутыми бурной игрой воображения, да ещё любимые поэты, заново воплощённые в его сознании животворной силой своих стихов.

Годы неволи изменили Заболоцкого – он стал внимательнее к живому человеку, даже к случайному встречному. Как бы это прямолинейно ни прозвучало, но, если говорить коротко, суть происшедших с Заболоцким перемен очевидна: начиная с послевоенного времени его поэзия очеловечивается. Сами стихи тому свидетели: «Поэт» (1953), «Неудачник» (1953), «В кино» (1954), «Бегство в Египет» (1955), «Некрасивая девочка» (1955), «Старая актриса» (1956), «Где в поле возле Магадана» (1956) – и ещё многие другие можно было бы назвать.

Но началось всё со стихотворения «Прохожий» 1948 года, сюжет которого, конечно же, подсказан частыми переходами по тропе мимо сельского переделькинского погоста:

Исполнен душевной тревоги,
В треухе, с солдатским мешком,
По шпалам железной дороги
Шагает он ночью пешком.

Уж поздно. На станцию Нара
Ушёл предпоследний состав.
Луна из-за края амбара
Сияет, над кровлями встав.

Свернув в направлении к мосту,
Он входит в весеннюю глушь,
Где сосны, склоняясь к погосту,
Стоят, словно скопища душ.

Тут лёгчик у края аллеи
Покоится в ворохе лент,
И мёртвый пропеллер, белея,
Венчает его монумент.

И в тёмном чертоге вселенной,
Над сонною этой листвою
Встаёт тот неожиданно мгновенный,
Пронзающий душу покой,

Тот дивный покой, пред которым,
Волнуясь и вечно спеша,
Смолкает с опущенным взором
Живая людская душа.

И в лёгком шуршании почек,
И в медленном шуме ветвей
Невидимый юноша-лётчик
О чём-то беседует с ней.

А тело бредёт по дороге,
Шагая сквозь тысячи бед,
И горе его, и тревоги
Бегут, как собаки, вослед.

Вот так же однажды по осени Заболоцкий возвращался домой со станции Переделкино. В тот раз его ждали с особым нетерпением – и не только домашние. Дело было в начале сентября 1946 года. В город его и многих других писателей вызвали по чрезвычайно важному государственному делу: в Союзе писателей должно было состояться обсуждение – вернее бы сказать осуждение – Зощенко и Ахматовой, творчество которых ЦК партии подверг резкой критике в своём постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград». Всем уже хорошо было известно, что двух живых классиков литературы с позором исключат из рядов Союза советских писателей. Понятно, мало кому из литераторов хотелось марать руки, голосуя за это исключение. Заболоцкому было куда как сложнее, чем другим: он и сам-то недавно ходил во «врагах народа» и только-только был восстановлен в рядах Союза. Он очень хорошо понимал: малейший проступок – и власть запросто учепёт его за решётку или в лагерь. Времена были строгие: за опоздание на работу сажали под арест и давали срок, а уж идти против *линии партии* было и вовсе самоубийственным.

Но участвовать в показательном шельмовании двух писателей, один из которых, Михаил Михайлович Зощенко, в своё время не раз поддерживал его самого?!

О дальнейшем рассказал впоследствии в своей мемуарной книге «Эпилог» Вениамин Каверин:

«...» друзья Николая Алексеевича (и я в том числе) уговорили его пойти на общее собрание <...>. Вопрос идти или нет – касался и меня. Но я мог “храбро спрятаться” (как писал Шварц в “Красной шапочке”), а Заболоцкий не мог. <...> Итак, мы уговорили его пойти на собрание; это, разумеется, значило, что он должен был проголосовать за исключение Зощенко. Мрачноватый, но спокойный, приодевшийся, чисто выбритый, он ушёл, а мы – Катя Заболоцкая, Степанов и я, – проводив его, остались (это было в Переделкине, на наёмной даче), – остались и долго разговаривали о том, как важно, что нам удалось его уломать. Не пойти, не проголосовать – это было более чем рискованно, опасно... <...> Однако рано мы радовались. Прошло два часа, когда я увидел вдалеке, на дорожке, которая вела от станции, знакомую фигуру в чёрных брюках и белой просторной куртке. Слегка пошатываясь, Николай Алексеевич брёл домой. Все ахнули, переглянулись. Екатерина Васильевна всплеснула руками. Улыбаясь слабо, но с хитрецей, Заболоцкий приближался, и чем медленнее он подходил, тем яснее становилось, что он в Москву не поехал. Войдя, он сел на стул и удовлетворённо вздохнул. Все два часа он провёл на станции, в шалманчике, основательно выпил, разговорился с местными

рабочими и, по его словам, провёл время интересно и с пользой. Несколько дней мы тревожились, не отразится ли на его судьбе подобный, неслыханно смелый поступок. К счастью, сошло. Поступок не отразился».

...Невидимый юноша-лётчик, конечно же, по-доброму улыбался в тот вечер с небес при виде этого прохожего, весьма пьяного и ещё больше – счастливого.

НА ПЕРЕПУТЬЕ

То весеннее вдохновение 1946 года прошло – а вместе с ним и стихи.

Осталось несколько прекрасных лирических творений, но кто их знал, кто читал?.. разве только близкие товарищи и друзья. Даже и они не заикались о том, чтобы предложить стихи в альманахи или журналы: слишком непривычны, что ли, для массы стихотворной продукции, которая выходила в свет. Все, да и сам Заболоцкий, понимали: такое не пройдет. Слишком долго раньше били его по рукам и клеймили позорными кличками, и тень от прошлого никуда не делась, так же стоит тяжёлой тучей в безветрии, готовой рухнуть с высоты.

Вернулась семья, и надо было обеспечивать её, – это Николай Алексеевич всегда считал своей обязанностью, тем более теперь, после стольких испытаний и лишений, что перенесли жена и дети в блокаде, в ссылке, на Алтае и в Казахстане. Между тем, никаких других способов заработать на жизнь, кроме литературных переводов, не было. Летом 1946 года в Москву приехали старые друзья Симон Чиковани и Георгий Леонидзе: у них были большие и вполне конкретные планы на будущее Заболоцкого-переводчика. Николай Тихонов познакомил своего давнего товарища с венгерским поэтом Анталом Гидашем, и Заболоцкий начал переводить его стихи.

В ту пору к поэту обратилась известная пианистка Мария Вениаминовна Юдина с предложением перевести несколько стихотворений немецких поэтов для сборника песен Шуберта, который она редактировала. Когда-то в Ленинграде она была дружна с Хармсом, читала и любила стихи молодого Заболоцкого. Они познакомились лично в марте 1946 года в Клубе писателей, где поэт читал свой перевод «Слова о полку Игореве». Юдина была под сильнейшим впечатлением от этой работы, которую она позже называла и «переложением», и «пересочинением», и даже (не очень удачно) «перепоззией» – и считала гениальной.

8 августа 1946 года Николай Алексеевич отвечал ей:

«Я очень рад, что мои стихи пришли к Вам по душе, тем более что Вы – читательница взыскательная. Но Вы, конечно, преувеливаете значение моих стихов, слабые стороны которых мне хорошо известны. (...)

Я ещё не приступал к переводам, но обещание своё исполню, и как только что-нибудь будет готово, мы с Вами встретимся и обсудим, что к чему. Буду очень рад, если Вы навестите меня в Переделкине – при случае».

По её признанию, «с трепетом» направилась она к поэту, не зная, как он её встретит. «Но получилось легко и отраднo: Николай Алексеевич был перед домом, во дворе колот дрова, около него были и симпатичные дети. “Вот Никита, вот Наташа”, – представил он их мне; дети были среднего школьного возраста, Николай Алексеевич рассказал, как далеко – по другую сторону железной дороги – находится школа, как трудно порою, в любую непогоду, путешествовать им туда и обратно; но ведь общеизвестно, что Николай Алексеевич никогда ни на что не жаловался, то была лишь констатация. Я посидела на пенёчке, пока убрали дрова, мы пошли в его рабочую комнату, наверх, я рассказала ему подробнее о своём предложении, он охотно согласился. Николай Алексеевич любил музыку, особенно симфоническую

и ораториальную. Но конструктивно, теоретически мало её знал, и на некоторое время пришлось взять на себя роль “учителя”; обоим нам было весело: мне – объяснять, ему – познавать».

Итогом их совместной работы стал так называемый эквиритмический перевод восьми стихотворений Шиллера, Гёте, Рюккерта и других поэтов, положенных на музыку Шубертом. Заболоцкий не раз приезжал к М. В. Юдиной домой, причём неизменно был точен, и они прилежно преодолевали тонкости технически сложного перевода песенного текста. В перерывах пианистка играла поэту Бетховена реже – Баха. (Известное его стихотворение «Бетховен» (1946) отчасти связано с этими домашними музыкальными концертами.) «Я имела счастье тогда, – впоследствии вспоминала она, – многократно слушать чтение Заболоцкого своих стихов. (...) читал он мне тогда и “Лодейникова”, и многое другое, и “Слепого”; говорил о своём любимом Сквороде». Во вкусах они сходились: оба любили Тютчева и Хлебникова, оба прохладно относились к Маяковскому. Юдина подарила Заболоцкому несколько томов Пушкина и Хлебникова, – ««(...) всё это его радовало, а радостью так долго судьба его не баловала...».

У Марии Вениаминовны были и дальнейшие планы совместной работы, они были связаны с переложением на русский кантат Баха, романсов и песен Брамса, современных композиторов. Но поэта всё это не увлекло: эквиритмический перевод стал раздражать его своими тесными и требовательными рамками. «Видимо, нечто чуждое было как во мне, так и в самой работе – для Заболоцкого непреодолимое, – вспоминала М. В. Юдина. – И хотя, повторяю, ничего негативного ни разу не было Николаем Алексеевичем высказано и, учитывая его прямоту и правдолюбие, – и не подумано, при первом ярком ином зове – он нас, сиречь меня, Шуберта, музыку, “старых немцев”, и покинул. Его похитили у нас грузины».

Вскоре он, действительно, с головой ушёл в переводы грузинской поэзии...

Как такую ежедневную многочасовую нагрузку можно было совмещать со своими собственными стихами? Муза требовательна и капризна – поэзии нужна полная свобода.

В письме Николая Заболоцкого к И. Н. Томашевской от 8 августа 1946 года есть важные признания.

Наверное, Ирина Николаевна попросила у Николая Алексеевича тексты его стихов – возможно, за неимением у себя его сборника или же зная, что в его прежних тонких книжках напечатано далеко не всё. Отказать ей поэт, конечно, не мог – но с ответом тянул:

«Вы, вероятно, решили, что я не исполню своего обещания и не напишу Вам. *Действительно, переписывать свои стихи – занятие для меня не из приятных, тем более что я не нахожу в них того, что хотел бы сказать в стихах* (здесь и далее курсив мой. – В. М.). Это обстоятельство задержало письмо. Но стихи кое-как перепечатали на машинке – не посетуйте за это на меня и простите за лень и невнимательность».

Старые стихи – Заболоцкого уже не устраивают. (Впрочем, отношение к собственным стихам у поэтов может быть весьма и весьма изменчивым: сегодня нравятся, а завтра нет.) Заболоцкому явно неприятно даже упоминать о своих стихах – и он тут же сворачивает разговор на переводы. Подробно отчитывается о том, что «довольно порядочно поработал» в Переделкино и перевёл с грузинского и узбекского, ещё и поэму А. Гидаша с венгерского, да ещё – закончил работу над «Словом о полку Игореве», которое пойдёт в десятой книжке «Октября».

Но вот, словно бы вскользь, – о главном:

«Своих стихов не пишу и не знаю, как их нужно писать».

Что такое – *не знаю?*

Это он-то не знает, у кого во главе угла – ум, разум, со-знание (то есть сопричастность *знанию вообще* – планетарному, космическому знанию жизни, которое всё постигает без слов, до слов, которому слова – только ключи, иероглифы смысла, знаки, определяющие суть явлений)?!

Уж кто-кто, но Заболоцкий всегда знал, как нужно писать стихи, коль скоро даже для шуточного экспромта в пересыльной тюрьме – «Балладе о баланде» – потребовал от соавторов сначала твёрдого плана, а уж потом согласился на совместное сочинительство.

Стало быть, признание Заболоцкого значит что-то иное – и, скорее всего, то, что отныне, если и не главенствует, то на равных правах наличествует в его творчестве, вместе с логикой, разумом, сознанием, некая поэтическая стихия, которая и определяет всё остальное. Эта стихия отнюдь не отменяет сознания – она направляет его в поисках новой формы выражения, то есть в конце концов расширяет сознание.

Больше в письме к Томашевской ни слова о стихах. Так, кое-что о быте, о настроении. Семья живёт благополучно. Переделкино – очень по душе. «Здесь хорошо работается, и милая московская природа так успокаивает душу. В город я стараюсь ездить как можно реже, что, впрочем, не всегда удаётся».

Одно не ясно: переписал ли поэт для Томашевской те несколько стихотворений, что появились у него весной 1946 года?

«*Своих стихов не пишу...*»

Между своей лирикой и читателем он, вероятно, стал всё больше ощущать некую преграду. Густое, непроглядное, тяготеющее облако, – условно говоря, это была цензура. Волна весеннего вдохновения, вызванная возвращением к поэзии, очень скоро натолкнулась на эту невидимое и тяжкое препятствие, – и теперь, после многолетней неволи, он чувствовал его с обострённой и болезненной остротой.

«*(...)* заботясь о будущем поэта, друзья, и в первую очередь Н. Л. Степанов, стали ему настоятельно советовать написать что-нибудь такое, что можно было бы сразу напечатать и тем самым упрочить своё официальное положение в литературе *(...)*, – пишет Никита Заболоцкий. – Симон Чиковани, прекрасный грузинский поэт, тогда ли или позднее, ссылаясь на свой опыт, говорил, что у каждого поэта должны быть “стихи-паровозики”, с помощью которых можно было бы проталкивать в книжку или журнальную подборку свои лучшие стихотворения.

Вопрос о приспособлении своих литературных интересов к официальным требованиям был для Заболоцкого мучителен. Он понимал, что в создавшихся условиях друзья были правы, и, конечно, мог без особого напряжения написать такое стихотворение, которое принял бы к печати любой журнал. Но если писать с заранее заданной себе конъюнктурной целью, можно ли написать подлинное произведение и не будет ли это изменой самому ценному, что у него есть, – поэтическому призванию? В своё время в Ленинграде он написал два-три стихотворения специально для публикации в газетах и тогда уже понял, что они получились чужими, слабыми. *(...)*».

Как и тогда, действительность требовала от поэта отдать поклоны невидимому божку. Однако после вдохновенных стихов, что появились весной 1946 года, сделать это было совершенно невозможно.

Поэту Семёну Липкину запомнилось, как однажды Николай Заболоцкий сказал ему: «Не буду предлагать редакциям оригинальные стихи, буду публиковать только переводы».

Липкин повествует:

«Эти слова он сказал после одного эпизода, о котором я ещё расскажу, но всё же я полагаю, что то была минутная вспышка, я убеждён, что Заболоцкий не только сознавал истинность своего призвания, но и упорно верил в то, что его поэзия нужна людям, нужна для того, чтобы их радовать и учить. В этом смысле он достойный продолжатель великой русской поэзии, чей учительский, проповеднический характер общеизвестен.

Вскоре после того, как Заболоцкий вернулся из Казахстана и получил вместе с семьёй временное пристанище в Подмоскowie, я познакомил его с одним поэтом, весьма искусным и тонким мастером. Заболоцкий выслушал его стихи, а потом сказал мне: «Он работает как слепой».

Я не раз мысленно возвращался к этой фразе. Хотел ли Заболоцкий сказать, что поэт должен мыслить рационально, знать наперёд свои возможности, видеть ясно предметы, подлежащие описанию? Нет, понял я, Николай Алексеевич хотел от этого поэта ясного понимания своей художнической цели, хотел, чтобы тот с помощью слов создавал существо жизни, а не умножал литературные образцы, хотя и безупречного вкуса».

Несомненно, после возвращения в литературу, которое началось с обнародования перевода «Слова о полку Игореве», Заболоцкий и перед самим собой как поэтом поставил задачу ясного понимания своей новой художнической цели и до полного её решения не хотел являться со своими стихами к читателю. Тем более что и стихи его опять явно выбивались из ряда отоброцизованных рифмованных шеренг.

ПРОВЕРКИ НА ДАЧАХ

Одним из оргвыводов, последовавших за постановлением ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», стала смена руководства в Союзе советских писателей: вместо Николая Тихонова генеральным секретарём Союза был избран Александр Фадеев.

Начинал Фадеев как даровитый прозаик, написал два романа. Но постепенно, заняв руководящие посты в РАППе, а затем в Союзе писателей, сделался больше *начальником, чем художником слова*, – говоря словами Ильи Ильфа («Я не художник слова, я начальник»). При этом по-настоящему знал и любил литературу. Личная писательская трагедия Фадеева состояла в том, что он, так сказать, бросил свой талант на алтарь общественного служения (если, конечно, оно можно называть алтарём). По долгу службы Александру Александровичу порой приходилось десницей карать изрядного (вышедшего из ряда) писателя, а шуйцей – идущей от сердца – ему же помогать. Ведала ли его правая рука, что творит левая? Пожалуй что – да.

Про судьбу Николая Заболоцкого Фадеев знал: ему уже приходилось помогать жене заключённого поэта; стихи его – ценил. К тому же Заболоцкий отбывал наказание на Дальнем Востоке, – а это был край детства и юности Фадеева, там в молодости он сражался в рядах красных партизан на Гражданской войне...

Когда Николай Алексеевич оказался в одном с ним писательском посёлке Переделкино, Александр Александрович потянулся к нему: ему хотелось узнать о дальневосточных новостях, послушать стихи, понять, что Заболоцкий за человек. Соседи-писатели свидетельствуют, что генеральный секретарь Союза советских писателей в то время не раз заходил на дачу Ильенкова, чтобы побеседовать с Николаем Заболоцким. Вообще говоря, Фадеев имел привычку *совершать обход писательских дач* (как это его свойство определял Николай Чуковский), и при этом обходе порой где-нибудь «надолго застревал»...

Одну из таких встреч двух писателей красочно описал в своих литературных воспоминаниях Николай Корнеевич Чуковский:

«Однажды, во вторую половину дня, уже поздней осенью, у меня на даче сидели Заболоцкий и Липкин. Они сошлись у меня случайно и уже собирались уходить, как вдруг на крыльце загремело и в комнату вошёл Фадеев. <...>

На нашу дачу заходил он и в летние месяцы, когда в ней жили мои родители, и в осенние, в зимние, когда в ней оставался только я со своей семьёй. Отец мой непьющий, всегда на случай этих посещений держал в буфете поллитровку. Фадеев заходил невзначай, по-соседски, без делового повода, держал себя непринуждённо, со всеми наравне, и мы любили его, хотя ни он сам, ни мы ни на минуту не забывали, что он – начальство.

Общество тридцатых и сороковых годов было прежде всего иерархично, и в этой строжайше соблюдаемой иерархии он стоял несравненно выше и нас, и подавляющего большинства остальных людей. К этому времени я уже хорошо знал его. Он был человек редкой красоты и обаяния, в каждом слове которого поблескивали и ум, и талантливость; так и хотелось довериться ему, до конца отдалиться его очарованию, и я отдавался бы, если бы меня не смущали жёсткие нотки, иногда проскальзывавшие в его речах и смехе. Да и кроме того мы все слишком зависели от него, чтобы любить его чистой, беспримесной любовью. От него зависели пайки, которые мы получали тоже по строго иерархическому принципу, от него зависело распределение жилья, которого у нас не было, и возможность печататься, которая была столь узка, и Сталинские премии, и строго нормированная газетная слава, и вообще вся та оценка твоей личности, от которой полностью зависели и ты сам, и твоя семья. Поэтому даже против воли эти добродушнейшие соседские посещения имели привкус начальнического надзора.

Когда он вошёл на этот раз, мне подумалось, что он явился ради Заболоцкого. Так и оказалось, – он объяснил, что заходил на дачу к Заболоцкому и, узнав, что Николай Алексеевич у меня, зашёл ко мне. Мы все уселись вокруг стола, жена поставила на стол поллитровку и пошла жарить мясо на закуску. Я уже хорошо знал обыкновения Фадеева и сразу послал сына за второй поллитровкой. Заболоцкий принял тот степенный и важный вид, который у него всегда бывал при посторонних. Фадеев был шутлив, весел, говорлив, но говорил всё о незначительном, случайном, как бы нащупывая почву. После двух-трёх первых рюмок он попросил Заболоцкого почитать стихи.

Николай Алексеевич всегда охотно читал свои стихи, если его просили. На этот раз он читал обдуманно, с выбором. Лицо его несколько оживилось, он всегда интересовался тем, какое впечатление производят его стихи на слушателя. Фадеев слушал внимательно, поворачивая великолепную седую голову, великолепно сидевшую на великолепной шее. Свои чувства он выражал, похихатывая высоким голосом. Стихи ему нравились, он похвалил их, но, в сущности, сдержанно. После стихов он стал спрашивать Заболоцкого о его жизни. Николай Алексеевич отвечал скупое, ни на что не жалуясь и ничего не прося.

Потом произошло то, что происходило обычно, когда Фадеев приходил и засиживался. Сын мой снова был отправлен за бутылкой. Речь Фадеева превратилась в монолог, который невозможно ни запомнить, ни передать. Он говорил о Тургеневе, вспоминал сцены из его рассказов. Он читал стихи Баратынского, некоторые пел. Он пел сибирские партизанские песни. Он рассказывал о писателях – соседях по переделкинским дачам. И пил водку большими стопками. Я помню, он сказал однажды кому-то:

– У него нормальное отношение к еде: как к закуске.

Но сам он пил, почти не закусывая. Было страшно смотреть, сколько водки он в состоянии поглотить. Пьянел он медленно, лишь лицо его постепенно краснело и от этого становилось ещё красивее под седыми волосами. Речи его не делались сбивчивыми, но в них появлялись трагические и даже жалобные нотки. На что он жалуется, нельзя было понять, он, казалось, хотел сказать нам: я не такой, как вы думаете, я такой же, как вы. И оставалось ощущение исполинских бесцельно растрачиваемых сил, и становилось жалко его. Мы-то думали, что он человек творящий законы времени, а он ещё больше раб этих законов, чем мы.

Между тем шли часы, и давно уже была глухая ночь. Сын мой, ещё два раза бегавший за водкой – к соседям, – давно уже спал. Мы с женой попеременно засыпали на стуле, – то она заснёт, то я. Заболоцкий раза два уходил домой и возвращался. Липкин тоже полулежал часа два на диване, потом вернулся к столу. Один только Фадеев не проявлял ни малейших признаков утомления. Монолог его не прекращался, напротив, становился ещё более воодушевлённым. Он читал наизусть стихи Некрасова, восхищаясь до слёз. Потом стал рассказывать, как арестовали одну женщину, близкого его друга, и как он старался спасти её и ничего не мог сделать. <...> Рассказывая о своих бесплодных попытках отстоять её, он вдруг зарыдал, опустив седую голову на стол, на руки.

Наконец, в пятом часу чёрной декабрьской ночи, он поднялся, чтобы уйти. Его качало, и стало страшно, что он свалится на дороге и никуда не дойдёт. Мы с Липкиным решили пойти с ним и довести его до его дачи. <...> едва свернули за угол на дорогу, ведущую к его даче, как он вдруг ожил. Ноги его окрепли, он вырвал руки и объявил, что дальше пойдёт один. Мы ни за что не хотели бросать его на полдороге в таком состоянии и настаивали, что доведём его до дверей. Но он остановился и упорно, даже с ожесточением гнал нас. Мы не привыкли спорить с начальством, да, кроме того, и сами были пьяны и очень устали. Попрощавшись, мы разошлись.

Прошло два дня, мы сидели с женой и детьми за ужином, как вдруг к нам постучали. Я вышел на крыльцо и увидел жену Фадеева А. Р. Степанову и её сестру. С величайшим изумлением я узнал от них, что Фадеев до сих пор домой не вернулся. <...>

Через несколько дней как-то утром я встретил Фадеева на одной из переделкинских тропинок. Он был свеж, статен, подтянут, весел, высоко нёс гордую голову. Остановив меня, он стал расспрашивать о романе, который я тогда писал.

– Какая радость – писать роман! – сказал он. – Месяцами, годами живёшь с одними и теми же героями, ждёшь, что они сделают дальше, а делают они всегда неожиданное.

В разговорах со мной – и с многими другими – он часто жаловался, что должность генерального секретаря Союза писателей и члена ЦК партии мешает ему писать. <...> Я знал, что жалуется он совершенно искренне, но знал также, что отрава власти, могущества, первенства сидит в нём настолько сильно, что у него никогда не хватит духа от неё отказаться. Знал я и то, что власть его иллюзорна, что для того, чтобы не потерять её, он должен беспрестанно угадывать волю вышестоящих и выполнять её наперекор всему, не останавливаясь перед любой несправедливостью.

– Какой твёрдый и ясный человек Заболоцкий, – сказал он мне. – Он не развалился, не озлобился. На него можно положиться.

И тут я понял, что Николай Алексеевич прошёл проверку благополучно».

...Когда, за несколько лет до этого, Екатерина Васильевна Заболоцкая пришла к Фадееву просить за мужа, он изучил его дело и решил: не виновен. Но вот заключённый вышел на свободу – и Фадеев снова его проверял. По принципу: до-

веряй, однако проверяй. И проверял он теперь не только Заболоцкого, но и себя: а вдруг в первый раз ошибся, и поэт действительно враг? Универсальный принцип! *Семь раз отмерь...* Стихи стихами, литература литературой... – но, может, и затем, чтобы *верно отмерить*, не ошибиться, писательский генсек и заходил несколько раз в гости к недавнему официальному *врагу народа*.

Вот какую проверку на самом деле прошёл Николай Заболоцкий, а вместе с ним и сам Александр Фадеев. Отныне, после личного знакомства, он всегда решительно помогал поэту: в печатании стихов, в быту – и поддерживал его в литературной борьбе, где завистники и церберы-критики готовы были снова и снова топтать Заболоцкого.

Глава девятнадцатая НОВАЯ СТАРАЯ КОЛЕЯ

ТВОРЕЦ ДОРОГ

О встречах Заболоцкого с Фадеевым, кроме Н. Чуковского, кратко повествует Н. Степанов. Он оговаривается: сам при этом не присутствовал, но Николай Алексеевич не раз ему рассказывал о них. Его друг, свидетельствует Николай Леонидович, всегда относился к Фадееву с благодарным уважением:

«Из этих рассказов мне запомнился рассказ об одном из первых посещений Фадеева, ещё на даче Ильенкова.

Фадеев пришёл невзначай и попросил Ник. Ал. прочесть стихи. Он с большим вниманием слушал их, но особенно поразило его стихотворение “Слепой”. Прислушав его, Фадеев расплакался...»

Никита Заболоцкий в раннем очерке об отце (1973) писал: хотя Фадееву понравилось прочтённое Заболоцким, он сказал, что такие стихи, как «Слепой», несвоевременны. Конечно, автор мемуарного очерка, будучи в 1946 году ещё подростком, вряд ли был прямым свидетелем разговора взрослых, тем не менее он мог позже узнать от родителей подробности. В книге «Жизнь Н. А. Заболоцкого» (2003) этот эпизод значительно развёрнут:

«Фадеев поинтересовался, чем сейчас занимается Николай Алексеевич, что пишет. И тот стал читать свои новые стихотворения и переводы. Александр Александрович слушал внимательно, стихи ему явно нравились. Когда уже в конце чтения он услышал “Слепого”, на его непроницаемом, волевом лице показались слёзы. Он долго молчал, как будто перебарывая что-то в самом себе, и потом сказал тоном, который совсем не соответствовал доверительному характеру всей беседы:

– Такие стихи мы сейчас печатать не будем. Может быть – когда-нибудь в будущем, через много-много лет.

После паузы спросил:

– А почему вы, собственно, пишете “я такой же слепец с опрокинутым в небо лицом”? Как вы можете в нашем обществе и в наше время сравнивать себя со слепым?

Заболоцкий не стал объяснять, что все мы бываем слепы в предвидении своей судьбы и в проникновении в великие тайны природы. Он помрачнел, на вопросы Фадеева не ответил и заговорил о другом.

Вполне вероятно, всё так и было. Ведь *при Фадееве* те прекрасные стихи Заболоцкого, которые он написал весной 1946 года, действительно, не вышли. «Утро», «Бетховен», «Уступи мне, скворец, уголок» появились в печати только в 1956 году,

«Слепой» – в 1957-м, «Читайте, деревья, стихи Гезиода» – в 1960-м. Стихотворение «В этой роще берёзовой» поэт при жизни не увидел напечатанным – оно было опубликовано лишь в 1959 году...

В начале зимы 1946 года вышла очередная книжка журнала «Октябрь» с переводом «Слова о полку Игореве», – и Николай Заболоцкий – спустя девять лет вынужденного молчания – снова вернулся к читателю. Но только – как переводчик. Для полного возвращения в литературу надо было появиться с оригинальными стихами.

На лирике, понятно, был поставлен крест: генеральный секретарь Союза советских писателей добросовестно исполнял установки партии, тем более после идеологического разгрома двух ленинградских литературных журналов и исключения *из рядов* Ахматовой и Зощенко. При всём желании быстрее вернуть своё писательское имя Николай Заболоцкий всё же не мог заставить себя угодливо ремесленничать и наскоро мастерить *стишки-паровозики* для проталкивания настоящих произведений. Поэт решил вновь обратиться к жанру героических од, которые он писал в канун своего ареста десять лет назад. Так и появились в 1947 году: поэма «Творцы дорог», многоплановое стихотворение «Город в степи», а также короткие стихи «Начало стройки» и «В тайге». К ним тематически примыкает начало поэмы «Урал», оставшейся недописанной.

Как обычно у Заболоцкого, всё сделано крепко – но произведениям этим всё же далеко до его поэтических вершин. Стихи предназначались для публикации, – а значит, заранее были обречены. Полной правды не скажешь: в тогдашней советской печати не было и намёка на подневольный труд заключённых. А что без правды стихи! – так... рифмы. Никакое мастерство не в силах подменить собой художественную истину. Иносказания и недомолвки превращают действительность в её призрак; правдивые детали, при всём своём обилии, тонут в риторике, искажающей суть явлений:

Есть в совокупном действии людей
 Дыханье мысли вечной и нетленной:
 Народ – строитель, маг и чародей –
 Здесь встал, как вождь, перед лицом вселенной.
 Тот, кто познал на опыте своём
 Многообразно-сложный мир природы,
 Кого в горах калечил бурелом,
 Кого болот засасывали воды,
 Чья грудь была потрясена судьбой
 Томящегося праздно мирозданья,
 Кто днём и ночью слышал за собой
 Речь Сталина и мощное дыханье
 Огромных толп народных, – тот не мог
 Забыть о вас, строители дорог.
 («Творцы дорог», 1947)

Сколько тут всего намешано: и риторики, и правдивого, и натурфилософии!.. Но стихи-то – в целом слабые, рассудочные, поэзия и не просверкивает...

Эти *огромные толпы народные* – проще говоря, сотни тысяч эзков – и вправду трудились «далеко от родимого края», но народный ли приказ они исполняли? Они в самом деле шагали «через тундры и горы», « (...) сквозь топи болот, / Сквозь глухие лесные просторы», но разве они шли – «не ведая страха»?

К чему эти «высокие» слова:

Чтобы в царстве снегов и туманов
До последних пределов земли
Мы подобно шеренге титанов
По дороге бессмертия шли!

Да, шеренга, действительно, была – но лагерная, и *титаны* шли – под конвоем, *дорога бессмертия* же была устлана павшими от непосильного труда, недоедания и болезней...

В. А. Каверин потом заметил в своём «Эпилоге», что Заболоцкий написал «произведение о доблести труда, не упомянув ни словом о том, что это был рабский, подневольный труд. Не думаю, что ему легко далось стихотворение “Творцы дорог”».

Всё правильно: изначально предполагая пройти цензуру и напечатать свою поэму, Заболоцкий – как поэт, от которого всё-таки ждут поэзии, – пытался исполнить неисполнимое, решить задачу, решения которой нет.

Однако заметим одно обстоятельство: Заболоцкий не столько воспекает *добрлесть труда*, не столько героизирует безымянных тружеников, сколько – с небывалым упорством – пытается отстоять от забвения *достоинство работы*, проделанной заключёнными, которых в тогдашней жизни страны вроде бы и не существовало, которые были превращены в общественном сознании в людей-призраков. То есть он, верный своей совести, а также и своей натурфилософии, пытается *очеловечить природу несправедливости*, распространившую свои дикие законы на людей.

Несмотря на все цензурные препоны времени, пропагандистские установки и многопудовую ложь полного умолчания о судьбе безгласных подневольных тружеников, поэт всё же отстоял их достоинство и немалую роль в общем труде страны. Недаром окончание поэмы звучит с такой силой, искренностью и торжеством:

Рожок гудел, и сопка клокотала,
Узкоколейка пела у реки.
Подобье циклопического вала
Пересекало древний мир тайги.
Здесь, в первобытном капище природы,
В необозримом вареве болот,
Врубаясь в лес, проваливаясь в воды,
Срываясь с круч, мы двигались вперёд.
Нас ветер бил с Амура и Амгуни,
Трубил нам лось, и волк нам выл вослед,
Но всё, что здесь до нас лежало втуне,
Мы подняли и вынесли на свет.
В стране, где кедрам светят метеоры,
Где молится берёзам бурундук,
Мы отворили заступами горы
И на восток пробились и на юг.
Охотский вал ударил в наши ноги,
Морские птицы прянули из трав,
И мы стояли на краю дороги,
Сверкающие заступы подняв.

УРОКИ ПРАВОПИСАНИЯ

Этого-то достоинства и не мог простить Заболоцкому идеологической конвой и его сторожевая литературная критика, натасканная на авторов, выбивающихся из строя.

Скорее после выхода журнала «Новый мир» (№1, 1947) с первой после 1938 года публикацией стихов поэта «Литературная газета» в лице критика А. Макарова обрушилась на поэму «Творцы дорог»:

«Не будем останавливаться на интересной, идейно значительной поэме А. Недогонова “Флаг над сельсоветом” (№1), уже получившей положительную оценку в нашей печати.

Поэма “Творцы дорог” Николая Заболоцкого (№1) тоже посвящена ответственной теме труда – строительству дороги через тайгу и горы к океану. Но тема эта не нашла в поэме художественно верного выражения. Тех пламенных порывов чувств и воображения, которые составляют главную прелесть поэмы А. Недогонова, здесь нет и в помине. Поэма Н. Заболоцкого лишь претендует на изображение трудового подвига советских людей.

При всей внешней красивости и метафорическом богатстве поэма холодна. Говоря о людях, поэт впадает в риторику. Там же, где он изображает действие аммонала, “сверкающий во прахе, подземный мир блистательных камней”, или насекомых, он восторженно патетичен».

Тут многое передёрнуто – ибо никто, по мнению критика, не смеет «помещать» в стихи вровень с советским человеком всякие там камни и насекомых.

Приведя короткий лирический отрывок о звёздной ночи, А. Макаров, с высокомерной брюзгливостью в тоне, заключает:

«В этом отрывке с неприятной наглядностью обнаруживаются недостатки поэмы: её манерность и сугубая литературность (гётевское “пенье сфер”, извлечённые из ветхозаветного поэтического словаря “Лилеи”, “сонные гитары”, “хор цветов”), наконец, декадентская поэтизация “твари земной” <...>».

И всё – разговор окончен: серьёзного разбора поэмы Заболоцкий, не по своей воле молчавший целое десятилетие, оказался недостоин.

Никита Заболоцкий в своей книге пишет, с каким волнением ждал Николай Алексеевич и его друзья откликов на эту публикацию. И вот, чего они дождались...

«Читая статью дальше, Заболоцкий вновь увидел своё имя и, уже не ожидая ничего хорошего, пробежал глазами разбор стихотворения П. Семьинина “Окраина”. Разбор, как разгром, завершился словами: “Да это же приёмы прежнего Н. Заболоцкого, выпустившего когда-то юродствующую книжку, где, изображая новый быт, он всячески снижал его приёмами смешения высокого и низкого. Стихи П. Семьинина – это уже вредное эпигонство, пасквиль на нашу действительность”».

В этих словах Николаю Алексеевичу почудились нешуточная угроза и зловещее предупреждение, которые охладили душу, так живо напоминая критические проработки начала 30-х годов. Теперь-то поэт знал, к чему они могут привести».

Заболоцкого поддержал Фадеев. Выступая с докладом на XI пленуме правления ССП СССР (1947) он отметил стихи Н. Заболоцкого в «Новом мире», «посвящённые нашему строительству, основной теме дня».

Но в «Литературной газете» потом ещё раз прошли по поэме «Творцы дорог». Критик Д. Данин пенял автору, что он не раскрыл живых человеческих характеров строителей:

«В торжественной картинности и холодном риторическом пафосе “Творцов дорог” Николая Заболоцкого нельзя обнаружить ни тени живого интереса к че-

ловеку. Человек – не функция, а живая душа – только подразумевается в этой выпренной поэме, построенной с безукоризненной точностью и рассчитанными эффектами».

Наверное, Д. Данин был осведомлён о недавнем прошлом Н. Заболоцкого и хорошо понимал, какие «живые души» подразумеваются в поэме. Знал и о негласном запрете на любые упоминания о заключённых в печати. Тем не менее – поучал...

Так советская печать одёргивала тех, кто пытался хотя бы косвенно упомянуть о судьбах изгоев, о «лагерной пыли», которую надлежало развеять без всякой памяти о ней.

ВЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Прозаики – народ въедливый, дотошный: их мёдом не корми – дай влезть в чужую душу, выведать её тайны, понять подноготную. Это у них – профессиональное. Тем любопытнее итоги их наблюдений и догадок.

При всей своей любви и уважении к Заболоцкому, человеку и поэту, Николай Чуковский, конечно же, ещё и изучал его – вольно или невольно. Что-то, без сомнения, ему удалось понять, почувствовать. В Переделкино Чуковский поначалу посмеивался над соседом: никак не желает «ходить гулять», и даже стыдил его за то, что тот ни разу не побывал в лесу, не прошёлся по берегу реки.

«– Вы как Фет, – сказал я ему однажды. – Он тоже, как вы, был страстный изобразитель природы и не любил на неё смотреть».

И я рассказал ему, что когда Фет приехал в Неаполь, друзья сняли ему комнату с великолепным видом на Неаполитанский залив и Везувий, думая, что поэту, изобразителю природы, этот вид доставит особенное удовольствие. Но Фет завесил своё окно плотной шторой и так ни разу и не отодвинул её.

Заболоцкий выслушал мой рассказ угрюмо. Он сказал, что Фет был плохой поэт, хотя и не любил Неаполитанского залива.

Николай Алексеевич терпеть не мог Фета, как и многих других поэтов, с детства меня восхищавших. От этого между нами возникали постоянные ссоры, доходившие до настоящей ярости. Я отстаивал Фета с бешенством. Я читал ему фетовское описание бабочки:

Ты прав: одним воздушным очертаньем
Я так мила,
Весь бархат мой с его живым миганьем –
Лишь два крыла.

Выслушав, он спросил:

– Вы рассматривали когда-нибудь бабочку внимательно, вблизи? Неужели вы не заметили, какая у неё страшная морда и какое отвратительное тело.

Нет, обольстить его Фетом было невозможно. Ни Фетом, ни Яковом Полонским, ни Некрасовым, ни Сологубом, ни Ходасевичем, ни Ахматовой, ни Маяковским. Отношение его к Блоку до такой степени раздражало меня, что мы годами не упоминали в наших разговорах этого имени. Зато и обожаемого им Хлебникова я носил, как мог. Я утверждал, что Хлебников – унылый бормотальщик, юродивый на грани идиотизма, зелёная скука, претенциозный гений без гениальности, услада глухих к стиху формалистов и снобов, что сквозь стихи его невозможно продраться, и так далее в том же роде. Он слушал меня терпеливо, ни в чём не соглашаясь. Наши симпатии сходились на Тютчеве и Мандельштаме.

Во вторую половину жизни – после лагерей – он выше всех других русских поэтов ставил Тютчева. Он знал его всего наизусть и считал единственным недосягаемым образцом. Огромное воздействие Тютчева на стихи Заболоцкого последнего десятилетия его жизни неоспоримо.

В творчестве Заболоцкого за его жизнь произошла огромная эволюция. Литературные же вкусы его, симпатии и антипатии, эволюционировали гораздо медленнее. В стихах Заболоцкого, написанных за последние пятнадцать лет его жизни, самое пристальное исследование не обнаружит ни малейшего влияния Хлебникова. Однако до конца дней своих он продолжал утверждать, что Хлебников – величайший поэт двадцатого века. Я часто приписывал это его упрямству. Пожалуй, упрямство – не то слово. *Он был на редкость верный человек – верный во всех своих приятнях и неприятнях* (курсив здесь и далее – мой. – В. М.). Заставить его изменить сложившееся мнение было нелегко. Иногда в наших спорах мне начинало казаться, что в глубине души он со мною согласен, но не хочет, чтобы я об этом догадался. Впрочем, может быть, я ошибался».

И чуть далее, после столь же подробных наблюдений:

«Ожесточённые мои споры с Николаем Алексеевичем никогда не отражались на наших личных отношениях. *Этот добрый, справедливый, верный человек был терпим к любому мнению. Он был прекрасным другом своих друзей, хотя душевное целомудрие никогда не допускало его до дружеских излишней. Привязавшись к кому-нибудь, он привязывался навсегда, до конца.* Такими вечными привязанностями его были и Хармс, и Введенский, и Олейников, и Евгений Шварц, и Каверин, и Степанов, и Ираклий Андроников, и Симон Чиковани, и Антал Гидаш, и в последние годы Эммануил Казакевич, Борис Слуцкий. С Тихоновым он расходился во вкусах и мнениях, но питал к нему глубокую признательность, которую не могло поколебать ничто».

Самые близкие друзья Заболоцкого, друзья молодости, погибли; лишь с ними он когда-то мог говорить с полной свободой выражения и натуры, с вольной шуткой, издевательски-парадоксально – на той высокой ноте воображения, что одновременно граничит и с безумием, и с откровением. Последним собеседником, в чём-то ему равным и родственным по духу, был Евгений Шварц. Он остался в Ленинграде. Встречи с Евгением Львовичем были для Заболоцкого особым праздником. Оба одинаково любили побалагурить, поточить язычок, что-то сочинить на ходу в рифму; обоим было что вспомнить о прошлом.

Никита Заболоцкий вспоминает, как 24 ноября 1946 года к ним в Переделекино приехали Шварцы: Евгений Львович с женой Екатериной Ивановной. «Шварцы привезли невиданное для той поры лакомство – огромного гуся. В тот день сначала у Заболоцких, потом у Н. К. и М. Н. Чуковских ели и пили, вспоминая давние довоенные времена, говорили о нынешних событиях, радовались новым стихам Николая Алексеевича». Но праздник общения скоро закончился; оставался обмен письмами. Много ли скажешь в письме, – почте не очень-то доверяли... Но вот одно из посланий, написанное Заболоцким через год, 14 декабря 1947 года, и, как видно, в предновогоднем настроении, – Шварцы бережно сохранили его, и вполне понятно, почему. (Кстати, это письмо Заболоцкий не доверил почте – его передала Шварцам жена поэта, ездившая тогда в Ленинград.)

«Милые друзья Евгений Львович и Катерина Ивановна!

И обнимаю Вас, и целую Вас, и куда Вы девались, и почему о Вас ничего не слышно? И что нам теперь делать, если Вы нас больше не любите, и куда нам теперь деваться, если Вы нас больше не уважаете? И с кем я теперь выпью свою горькую рюмочку, когда нет коло меня милого друга Женички, когда не сидит супротив

меня милый друг Катенька? А пойду-ка я, старый сивый чёрт, во тёмный лес, а кликну-ка я, старый сивый чёрт, зычным голосом: – Вы идите ко мне, звери лютые, звери лютые членистоногие, членистоногие да двоякодышущие, да поглядите-ка вы, звери, в ленинградскую сторонушку, да заешьте-ка вы, звери, милого друга Женичку, милого друга Женичку со его любезной Катенькой!

Тот Женька-плут
Умком востёр,
Умком востёр
Да блудить мастёр!

Всё с актёрками Женька путается,
Со скоморохами Женька потешается,
Со гудошниками Женька водку пьёт,
Водку пьёт да в долони бьёт!

А уж время ему, старому мерину,
От той забавушки очухаться,
Очухаться, да раскумекаться,
Да сказать ему, Женьке, таково слово:
– Пойду-ка я, Женька, старый плут,
Старый плут, горемычный сын,
Во почтовое да отделение,
Во советское наше заведение!
Да возьму-ка я во резвы рученьки
Золотое пёрышко гусиное,
Да напишу-ка, Женька, писулечку
Своему другу Николаю Алексеичу
Да тому ли господину Заболоцкому!

Господин-то Заболоцкий во палатах, чать, сидит,
Во палатах, чать, сидит да не ест, не пьёт,
Обо мне, чать, Женьке, думу думает,
Бородой трясёт да сокрушается.
А подам-ка я, Женька, свою весточку,
Уж как вскочит он на резвы ноженьки
Да зачнёт он тую весточку прочитывать,
Резвой ноженькой притоптывать, да приговаривать:
– Знать, и впрямь я, сударик, Заболоцкий сын,
Не дубовая колода, не еловый сук,
Коли Женичка-дружок ко мне пописывает,
Коли Катенька сахарную ручку прикладывает.

Да! Жди от вас! Напишите, когда рак свистнет.

Целую Вас, беспутные друзья мои.

Ваш *Н. Заболоцкий*».

То же самое горячее дружеское чувство видим мы и в других письмах Николая Алексеевича к чете Шварцев. Вот ещё одно послание, которое нельзя не привести (приуроченное к посылке только что вышедшей третьей книжке стихов):

«12 сент. 1948. Москва.

Милые Екатерина Ивановна и Евгений Львович!

Посылаю Вам с В. А. Кавериным мою книжечку, – читайте, не гуляйте, не хороших слов не говорите, автора худом не вспоминайте. Написал бы лучше, да овёс дорог, животишки поослабли, в головке трясение. <...>

Прошёл тут слух, что в сентябре вы собираетесь в Москву, вот бы уж мы рады были, не вздумайте останавливаться где-либо, кроме нас: Беговая, д. 1а, корпус 29, кв. 1.

Но Вы народ северный, скажете и надуете.

Приезжайте, дорогие, вы знаете, как мы вас любим. Ножки будем мыть, воду будем пить, а уж доставим полное удовлетворение. (Когда я был реалистом и объяснился в любви одной барышне, она мне ответила запиской: “Я не намерена удовлетворять ваши низкие потребности”.)

Милые Шварцы, обнимаем и целуем вас и ждём в Москву. Катя целует.

Ваш *Н. Заболоцкий*.

Детишки кланяются до боли в мозжечках. <...>.

Таких писем Заболоцкий не писал больше никому.

Шварцам он сочинял также в юбилеи дружеские шуточные стихи...

* * *

Точно так же Заболоцкий был верен и тем, с кем прошёл испытания в неволе. И с той же верностью чтит память о тех безвинно осужденных, кто не дождался свободы: о крестьянах – жертвах насильственной коллективизации, о жертвах репрессий 1937–1938 годов. Именно этой памяти мы обязаны появлению одного из самых проникновенных и сильных его стихотворений – «Где-то в поле возле Магадана».

Как памятник Неизвестному солдату – это памятник Неизвестному мученику лагерей.

Где-то в поле возле Магадана,
 Посреди опасностей и бед,
 В испареньях мёрзлого тумана
 Шли они за розвальнями вслед.
 От солдат, от их лужёных глоток,
 От бандитов шайки воровской
 Здесь спасали только околодок
 Да наряды в город за мукой.
 Вот они и шли в своих бушлатах –
 Два несчастных русских старика,
 Вспоминая о родимых хатах
 И томясь о них издалека.
 Вся душа у них перегорела
 Вдалеке от близких и родных,
 И усталость, сгорбившая тело,
 В эту ночь снедала души их.
 Жизнь над ними в образах природы
 Чередою двигалась своей.
 Только звёзды, символы свободы,
 Не смотрели больше на людей.

Дивная мистерия вселенной
 Шла в театре северных светил,
 Но огонь её проникновенный
 До людей уже не доходил.
 Вкруг людей посвистывала вьюга,
 Заметая мёрзлые пеньки.
 И на них, не глядя друг на друга,
 Замерзая, сели старики.
 Стали кони, кончилась работа,
 Смертные доделались дела...
 Обняла их сладкая дремота,
 В дальний край, рыдая, повела.
 Не нагонит больше их охрана,
 Не настигнет лагерный конвой,
 Лишь одни созвездья Магадана
 Засверкают, встав над головой.
 1956

Теперь, по общему признанию, это стихотворение – в первом ряду вершин русской классики.

Приведём лишь один отзыв о нём – автора, в общем-то далёкого от Заболоцкого.

Как-то, беседуя с историком современной культуры С. Волковым, поэт Иосиф Бродский заметил:

– Я думаю, самые потрясающие русские стихи о лагерях, о лагерном опыте принадлежат перу Заболоцкого. А именно «Где-то в поле возле Магадана...»

Собеседник согласился:

– Да, это очень трогательные стихи.

– Трогательные – не то слово, – возразил Бродский. – Там есть строчка, которая побивает всё, что можно себе в связи с этой темой представить. Это очень простая фраза: «Вот они и шли в своих бушлатах – два несчастных русских старика». Это потрясающие слова. Это та простота, о которой говорил Борис Пастернак и на которую он – за исключением четырёх стихотворений из романа и двух из «Когда разгуляется» – был всё-таки неспособен. И посмотрите, как в этом стихотворении Заболоцкого использован опыт тех же «Столбцов», их сюрреалистической поэтики:

Вкруг людей посвистывала вьюга,
 Заметая мёрзлые пеньки.
 И на них, не глядя друг на друга,
 Замерзая, сели старики.

Не глядя друг на друга! Это то, к чему весь модернизм стремится, да никогда не добивается...

На наш взгляд, Бродский совершенно точно восхищается тем, что достойно особенного восхищения. Только «Столбцы» и модернизм здесь ни при чём. Старики знают, что не дойдут, и понимают: если сядут на пеньки – очень скоро замёрзнут. Отчасти это – самоубийство... хотя какое там самоубийство, если никакого выхода уже нет. Просто позволили себе чуть передохнуть напоследок. Но ведь всё равно они стыдятся – будто бы какого-то греха, потому и не глядят друг на друга. Это – в крови, это – народное...

СНОВА В ГРУЗИИ

И вот самолёт – первый в его жизни самолёт.

Весна 1947 года, яркий и свежий московский май, аэропорт «Внуково», рейс «Москва – Тбилиси».

Восторг первого в жизни полёта в небе:

В крылатом домике, высоко над землёй,
Двумя ревущими моторами влекомый,
Я пролетал вчера дорогой незнакомой,
И облака, скользя, толпились подо мной.

Два бешеных винта, два трепета земли,
Два грозных грохота, две ярости, две бури,
Сливая лопасти с блистанием лазури,
Влекли меня вперёд. Гремели и влекли. <...>

Павел Антокольский, один из спутников Николая Заболоцкого в той писательской поездке, потом точно заметил, насколько «первозданно и остро» выразил поэт свои новые ощущения в этом замечательном стихотворении, названном «Воздушное путешествие». Однако, чтобы понять Заболоцкого по-настоящему, надо вспомнить и то, что его переполнял сам *воздух свободы, сам отрыв в высоту от земли*. Ещё недавно, в течение семи лет, земля распластывала его в камерах за тюремной решёткой, на этапах, в тайге, в кулундинской степи, среди угольных терриконов Караганды, – а теперь он летит над этой землёй и свободен!.. И ещё одно – самолёт был для него в этот момент олицетворением разумного устройства человеком природы и жизни в ней, – недаром именно в этом же 1947 году Заболоцким написано его программное стихотворение «Я не ищу гармонии в природе».

Лентообразных рек я видел перелив,
Я различал полей зеленоватых призму,
Туманно-синий лес, прижатый к организму
Моей живой земли, гнезвился между нив.

Я к музыке винтов присушивался, я
Согласный хор винтов распределял на части,
Я изучал их песнь, я понимал их страсти,
Я сам изнемогал от счастья бытия. <...>

Он, пожалуй, и не замечал этих не самых музыкальных звуков – грохота, рёва и гудения моторов, – в нём всё пело, и звуки двигателей казались самой прекрасной музыкой.

Я посмотрел в окно, и сквозь прозрачный дым
Блестательных хребтов суровые вершины,
Торжественно скользя под грозный рёв машины,
Дохнули мне в лицодыханьем ледяным.

И вскрикнула душа, узнав тебя, Кавказ!
И солнечный поток, прорезав тело тучи,
Упал, дымясь, на кристаллические кучи
Огромных ледников, и вспыхнул, и погас. <...>

Неспроста он ощутил себя тогда – частицей вечного бытия, всей человеческой истории, запечатлённой поначалу легендами и мифами:

И далеко внизу, расправив два крыла,
Скользило подо мной подобье самолёта.
Казалось, из долин за нами гнался кто-то,
Похитив свой наряд и перья у орла.

Быть может, это был неистовый Икар,
Который вырвался из пропасти вселенной,
Когда напев винтов с их тяжестью мгновенной
Нанёс по воздуху стремительный удар.

И вот он гонится над пропастью земли,
Как привидение летающего грека,
И славит хор винтов победу человека,
И Грузия моя встречает нас вдали.
1947

Грузия была его любовью и его работой – здесь он начинал строить свою новую жизнь и отдыхать от прошлой. Ещё в феврале-марте Заболоцкий списался с Чиковани и договорился о ближайшем будущем своей переводческой деятельности. Он хотел «сделать *всего Орбелиани*», то есть подготовить книгу его переводов на русский. Старая книжечка переводов Р. Ивнева – весьма слаба, писал он, нужна новая: «Тогда русский читатель, наряду с Бараташвили в переводе Пастернака, имел бы ещё одного романтика, переведённого не случайно, но последовательно и с любовью». И сообщал: его идею одобрили в Гослитиздате. Но необходима поддержка и грузинских друзей. Николай Алексеевич напомнил, что тем самым он «двигает» и свою большую книгу переводов с грузинского, которую желал бы издать в Тбилиси, «если это дело у вас не заглохло».

Он прямо сказал, что от издательства «Заря Востока» ему нужен договор и аванс: «Пока же я работаю без договора, платонически, но усердно. <...> Но я должен сказать, дорогой Симон, что так работать мне трудно, если принять во внимание мою неустроенную жизнь. Несмотря на то, что перевод “Слова” имеет хорошие отзывы, что стихи мои идут в “Новом мире” и пр. – материально это меня мало устраивает и, если я не завяжу деловых связей с вами, мне будет трудно вести дело так, как надо».

Симон Чиковани в ту пору избирался в Верховный Совет страны. Как один из самых влиятельных деятелей грузинской литературы и как автор он был очень заинтересован в Заболоцком-переводчике. Не всё, что было намечено другом, ему удалось осуществить, но кое-что он сделал. В том же году в Тбилиси вышла книга Григола Орбелиани в переводах Заболоцкого – она стала его первой книгой после освобождения (через два года её переиздали в Москве). А сам Заболоцкий в 1947 году дважды побывал в Грузии: первый раз весной, в составе делегации московских писателей, второй раз – летом, когда вместе со всей семьёй около двух месяцев жил и работал в Доме творчества «Сагурамо».

Той весной Николай Заболоцкий переживал душевный подъём – и такой, что его накала хватило на весь 1947 год.

Это особенно заметно по стихам.

Заболоцкий наскоро отделался от «обязаловки» – стихов *во славу социализма*, которых требовательно ждали от всех членов делегации московских поэтов: на-

писал «Храмгэс» и «Пир в колхозе “Шрома”», – и принялся за настоящее, заветное, навеянное весенней поездкой.

Я твой родничок, Сагурамо,
Наверно, вовек не забуду.
Здесь каменных гор панорама
Вставала, подобная чуду. <...>

Чудом была жизнь и эта благословенная земля: горы, поросшие курчавым лесом, старинный храм на вершине, оленьи тропы, пение родника. И всё в его стихах – запело:

Здесь птицы, как малые дети,
Смотрели в глаза человечьи
И пели мне песню о лете
На птичьем блаженном наречье.

И в нише из древнего камня,
Где ласточек плакала стая,
Звучала струя родника мне,
Дугою в бассейн упадая.

И днём, над работой склоняясь,
И ночью, проснувшись в постели,
Я слышал, как, в окна врываясь,
Холодные струи звенели.

И мир превращался в огромный
Певучий источник величья,
И, песней его удивлённый,
Хотел его тайну постичь я. <...>

Симон Чиковани, хорошо знавший русского друга, считал, что из грузинских поэтов тот больше всех любил Давида Гурамишвили и Важа Пшавелу. Заболоцкий, по его мнению, любил грузинскую поэзию в единстве, в целом, восхищаясь её мудростью, простотой, богатством ритмов и интонаций и яркой живописностью образов. Прежде всех природных красот, именно поэзия сроднила Заболоцкого с землёй Грузии.

Всем запомнилось, как по дороге к Дому творчества поэт попросил водителя остановить машину у могилы Ильи Чавчавадзе, как он стоял в молчании у обелиска из белого мрамора. Не потому ли дальше в стихотворении «Сагурамо» (1947) идут такие строки:

И спутники Гурамишвили,
Вставая из бездны столетий,
К постели моей подходили,
Рыдая, как малые дети.

И туч поднимались волокна,
И дождь барабанил по крыше,
И с шумом в открытые окна
Врывались летучие мыши.

И сердце Ильи Чавчавадзе
Гремело так громко и близко,
Что молнией стала казаться
Вершина его обелиска. <...>

И каменный храм Зедазени
Пылал над блистательным Мцхетом,
И небо тропинки оленье
Своим заливало рассветом.

Семье Заболоцких отвели в Сагурамо две комнаты на втором этаже. Всякий день Николай Алексеевич подолгу просиживал над переводами в своём кабинете, а дети с матерью просто наслаждались отдыхом – первым за трудные последние годы. По вечерам обитатели Дома творчества собирались на открытой террасе, откуда виднелась долина Арагвы в дымке тумана. Далеко-далеко на горизонте она замыкалась синеватой цепочкой гор, её венчал двуглавый Казбек, – в солнечную погоду он посверкивал вечным снегом на своих вершинах.

Одним из соседей Заболоцкого был киносценарист Сергей Ермолинский, заочно знавший поэта по «Столбцам». Они познакомились и по-товарищески сошлись; выяснилось, что и Ермолинский побывал в заключении. Может, поэтому он лучше других понимал Заболоцкого:

«А вначале было удивление. Я знал, что до появления в Сагурамо он прошёл нелёгкий путь – были тяжёлые годы, но как будто их не было! Передо мной стоял среднего роста, спокойный, благополучный человек, аккуратно одетый в стандартный мужской костюм, кругловатое лицо, роговые очки в негрубой оправе, гладкие волосы, причёсанные чуть вбок. Прозаическая внешность, никаких катастроф позади! И казалось, ничто не нарушало и не нарушает его внутреннего равновесия... Когда я вспоминаю своё первое впечатление, я вижу, что это была не маска, не желание спрятаться за неё, а естественное поведение».

Ермолинский вскоре почувал тот радостный душевный настрой, который исходил от поэта весной 1947 года, а впоследствии ярко определил свои впечатления:

«Никогда раньше не был он так уверен в себе, как в пору нашего знакомства. Это был пример могучий.

Он мог быть разорванным надвое – между страданиями своего времени и его высокими идеалами. Он мог быть придавлен трудностями жизни (и не только своей собственной). Он мог ожесточиться и возненавидеть. Он мог замкнуться и очериться. Он мог оробеть, чуя выжидательно-изучающие взгляды на себе. И, наконец, он мог просто устать, безнадежно устать. Этого не случилось. Напротив! Он не устал, не оробел и не ожесточился. Вопреки всему он возвращался, обретая гармонию! Широко распахнул мир, природе, людям, их сокровенным чувствам, поэзии, лишённой пустой красоты!.. И Сагурамо стало для него той немаловажной вехой, откуда начиналась другая, новая жизнь. Война кончилась. А для него мирный день загорался вдвойне. Любимая профессия, единственная из всех возможных, возвращалась к нему!»

Сергей Ермолинский нашёл точную формулу, составлявшую тогда основу жизни и духа Заболоцкого: *энергия возвращения*.

После «урока» – установленной самим себе нормы – они, бывало, уходили бродить по горам и порой добирались по тропам до скалистой вершины Зедазени, где стоял древний монастырь. Там обитал один-единственный монах; по совместительству он был и служащим – присматривал за памятником старины. (Удивительно – домосед Заболоцкий отправлялся в такие путешествия!..) «С этой

вершины, – вспоминал Ермолинский, – простиралась и вовсе широкая панорама – далеко внизу Мцхета, со своими серыми куполами, и Арагва сливалась с Курой, а чуть выше (но так далеко внизу от нас) – Джвари. Иногда, закрывая эту панораму, под нами плыли облака...

Высоко забрались мы! Упоительно было пробираться по заоблачным склонам, в чащобах, по нехоженным тропам, на которых виднелись вмятины лёгких оленьих следов. Только лесника Глахуну можно было встретить здесь. Бродили мы обычно не докучая друг другу болтовнёй. Мы оба любили помолчать, и в этом были очень одинаковы.

Так вот и гуляли – молча. Набрели однажды на развалины какой-то церкви или часовни, не старой, по-видимому, и неведомо почему и как здесь возникшей. Встревоженные летучие мыши, висевшие вниз головой, взметнулись над нами. Раза два побывали в гостях у монаха, чёрнобрового, с жгучими озорными глазами, угостили его вином. Он говорил по-русски с сильным кавказским акцентом и в отсветах костра казался огнепоклонником. «...» помню ночь, когда мы спускались домой. Вокруг было полно таинственных шорохов и немного жутко...»

Конечно, эти дальние прогулки были редки. Чаше, поработав, приятели отправлялись к Военно-Грузинской дороге, где стоял духан. Попивали дешёвое, чуть терпкое розовое вино. Народу там почти не было. Духанщик подносил кувшин за кувшином. «Выпивалось иногда порядочно, закусывали овечьим сыром не первой свежести. Разговор оживлялся, но я не представляю себе, чтобы у нас могла получиться пьяная беседа “по душам” с взаимными излияниями, после которых наутро стыдно и за себя, и за друга. Это исключалось».

Однажды Ермолинский рассказал Заболоцкому про роман Булгакова «Мастер и Маргарита», о котором тогда мало кто знал.

«– Как вы думаете, Булгаков был житейски приспособленный человек? – спрашивал Заболоцкий.

– Думаю, да. «...» А иначе как бы он выжил?

– Верно, верно. И неизбежная литературная подёнщина не сломила его? То есть, я хочу сказать, не унизила его писательство?

– Нисколько.

– И то, что он писал либретто для опер, сценарии, инсценировки, редактировал чужие пьесы?

– Это никак не отразилось на его главном романе, о котором я вам только что рассказывал.

– И он продолжал выправлять его чуть ли не накануне смерти, хотя знал, что не увидит его напечатанным?

– Да.

– Так всегда бывает, иначе копейка тебе цена! – воскликнул он, и какие-то сомнения словно отлетели от него. – Природа обязательно находит защитную форму для любого живого ростка, – говорил он. – Заметьте – живого! Характер наш формируется до пяти лет, в этом я убеждён, а потом, смотря по жизни, вырабатывается и защитная форма. Понимаете? Было бы что защищать, и тогда сочетается приспособляемость и рядом – удивительно упорное самосохранение. У каждого по-своему, но для нашего брата обязательное. Вы не согласны?

– Я согласен.

– Однако приспособляемость эта, – засмеялся он, – должна находиться в строгих рамках, иначе всё полетит к чертям!»

Рамки рамками – а время?.. Если изо дня в день сидеть большей частью за переводами, где то время, та полная – якобы праздная, а на самом деле вся во

власти творческой интуиции и, разумеется, плодотворная – свобода? Как бы ни был интересен перевод с грузинского или с какого иного языка, он ещё и перевод времени, которое можно было бы отдать собственным стихам и вольным думам. Всё усугублялось тем, что по характеру Заболоцкий был на редкость честным и добросовестным тружеником, халтурить, чтобы сберечь время для своего, он не мог. Симон Чиковани, знавший его долгие годы, свидетельствовал: «...» из-под пера Заболоцкого не могла появиться не отточенная, необструганная строка или вялая поэтическая фраза. От его слуха не могла ускользнуть глухая или недостаточно звучная строчка; языковая ткань его переводов прозрачна, тонка и благозвучна. Даже случайные знакомые, тем более домашние, видели, как кропотливо трудится Заболоцкий над переводами. Да и сам он признавался в статье об этой работе, что переводчик сочетает в своём лице черты писателя и учёного, да ещё надо сделать так, чтобы черты учёного были бы скрыты в глубине, а черты писателя явно проступали наружу. Понятно, такая взыскательность требовала времени и времени.

И когда теперь видишь перед собой результат – объёмистый трёхтомник переводов с грузинского (а ведь были ещё переводы с других языков), невольно думаешь: сколько же труда положено на это!.. А если бы затраченное время и силы он отдал собственным стихам?.. Конечно же, на самом деле всё куда как сложнее: переводы прежде всего требуют труда, доброго ремесленничества, а стихи – вдохновения и приходят сами по себе, – но всё же, всё же...

Было в этой изнурительной работе и своё благо: грузинские поэты, земля Грузии дарили его душу и мысль свежими красками, необычной музыкой, новыми темами для размышлений. Одни только стихи, так или иначе связанные с Грузией, чего стоят! Удивительно – по свежести и силе ощущений – стихотворение «Ночь в Пасанаури»:

Сияла ночь, играя на пандури,
Луна плыла в убежище любви,
И снова мне в садах Пасанаури
На двух Арагвах пели соловьи.

С Крестового спустившись перевала,
Где в мае снег и каменистый лёд,
Я так устал, что не желал нисколько
Ни соловьёв, ни песен, ни красот.

Под звуки соловьиного напева
Я взял фонарь, разделся догола,
И вот река, как бешеная дева,
Моё большое тело обняла.

И я лежал, схватившись за камень,
И надо мной, сверкая, выл поток,
И камни шевелились в иступленьи
И бормотали, прыгая у ног.

И я смотрел на бледный свет огарка,
Который колебался вдалеке,
И с берега огромная овчарка
Величественно двигалась к реке.

И вышел я на берег, словно воин,
Холодный, чистый, сильный и земной,

И гордый пёс, как божество спокоен,
Узнав меня, улёгся предо мной.

И в эту ночь в садах Пасанаури,
Изведав холод первобытных струй,
Я принял в сердце первый звук пандури,
Как в отрочестве – первый поцелуй.
1947

Сергей Ермолинский верно заметил, что тогда, в Сагурамо, *энергия возвращения* была в Заболоцком «так велика и так жадна, что всё сочеталось: и стихи, и переводы, и не опускались руки».

Вспоминая Сагурамо и думая о всём пути Заболоцкого, Ермолинский подводил итог:

«Он писал, как думал и как чувствовал. <...> Если Блок жил как в стеклянном доме, и по его стихотворениям можно проследить почти весь его жизненный путь, то Заболоцкий словно твердил себе: не надо разбазаривать тему своей биографии, надо увидеть мир шире – объективный мир, – а любое самокопание отбросить. Личные беды, особенно несправедливые беды, если пойти у них на поводу, превратятся в жёлчное разочарование, нет, хуже – человеконенавистничество. Тогда – конец, бесплодие, смерть. И нельзя откровенничать чересчур. Это постыдно, это лишит защищённости. Надо быть суровее, строже.

Сигурамское лето окончательно сформировало нового Заболоцкого. И это было счастливое для него время. Я в этом уверен. Собранность, внутренняя энергия не покидали его».

...Тот гордый пёс, что запечатлён в стихотворении «Ночь в Пасанаури», принадлежал директору Дома творчества Ираклию. Это была огромная овчарка, охранявшая овец в загоне. Её хозяин утверждал, что она как-то в одиночку справилась с волком, который пробирался в овчарню. Её щенки, виляя хвостами, по пятам таскались за писателями и за их детишками. Одного из щенков по кличке Басар, к которому особенно привязался его сын, Заболоцкий забрал с собой в Москву. Басар жил потом на даче Кавериных, первый этаж которой Вениамин Александрович зимой 1947 года отдал в распоряжение семье Заболоцких. Щенок вырос в огромного пса, одним своим видом пугал гостей поэта и, кажется, признавал одного подростка Никиту...

ТРЕТЬЯ КНИГА

Осенью 1947 года, уже в Подмосковье, Николай Алексеевич Заболоцкий всё продолжал жить той полнотой ощущений и чувств, что он испытал в Сагурамо. Это нашло выход в слове – в двух стихотворениях той поры, где выражены его заветные мысли о вечной жизни и месте поэзии в ней.

Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя
И, погасив свечу, опять отправлюсь я
В необозримый мир туманных превращений,
Когда миллионы новых поколений

Наполнят этот мир сверканием чудес
И довершат строение природы, –
Пускай мой бедный прах покроют эти воды,
Пусть приютит меня зелёный этот лес.

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
 Себя я в этом мире обнаружу.
 Многовековый дуб мою живую душу
 Корнями обовьёт, печален и суров.

В его больших листах я дам приют уму,
 Я с помощью ветвей свои взлелею мысли,
 Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли
 И ты причастен был к сознанию моему. <...>

Смерти нет – есть вечные превращения того, что называется сознанием – сознанием изначального и бесконечного бытия, к которому, являясь его частицей, в краткой земной жизни становится раз и навсегда причастен человек. – Вот итог давних дум поэта о единстве природного и человеческого, выношенных в глубине души.

Это стихотворение поначалу называлось «На склоне лет», потом «Напомянуть» и уж затем – «Завещание». Завещание – заветное, завет, прощание и встреча, передача потомкам самого сокровенного...

Над головой твоей, далёкий правнук мой,
 Я в небо пролечу, как медленная птица,
 Я вспыхну над тобой, как бледная зарница,
 Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой.

Нет в мире ничего прекрасней бытия.
 Безмолвный мрак могил – томление пустое.
 Я жизнь мою прожил, я не видал покоя:
 Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я.

О, я недаром в этом мире жил!
 И сладко мне стремиться из потёмок,
 Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок,
 Доделал то, что я не довершил.

1947

Второе стихотворение – «Кузнечик» – близко по духу «Завещанию», но тут Заболоцкий говорит уже не вообще о сокровенном содержании человеческой жизни – а о своём в ней назначении – о поэзии:

Настанет день, и мой забвенный прах
 Вернётся в лоно зарослей и речек,
 Заснёт мой ум, но в квантовых мирах
 Откроет крылья маленький кузнечик.

Над ним, пересекая небосвод,
 Мельчайших звёзд возникнут очертанья,
 И он, расправив крылья, запоёт
 Свой первый гимн во славу мироздания.

Довольствуясь осколком бытия,
 Он не поймёт, что мир его чудесный
 Построила живая мысль моя,
 Мгновенно затвердевшая над бездной.

Кузнечик – дурень! Если б ты узнал,
 Что все его волшебные светила
 Давным-давно подобием зеркал
 Поэзия в пространствах отразила!
 1947

...Почти десять лет у него самого не выходила книга собственных стихов. Почмь в издании сборника обещал Фадеев, – свежие стихи уже прошли «обкатку» в двух номерах журнала «Новый мир». Вероятно, Заболоцкий, по возвращении из Сагурамо, снова обратился к руководителю Союза писателей. И Александр Александрович сдержал слово: договорился с главным редактором издательства «Советский писатель» А. К. Тарасенковым о книге Заболоцкого. Он даже обещал быть рецензентом и неофициальным редактором книги. Столь авторитетное руководство и решило дело.

«Эту радостную новость Заболоцкому сообщил Николай Корнеевич Чуковский. Он рассказал, что Тарасенков высказался за издание, что он просил представить рукопись и что это тот самый Тарасенков, который собирает знаменитую коллекцию изданий русских поэтов двадцатого века, – повествует Н. Н. Заболоцкий. – Николай Алексеевич в свою очередь напомнил, что это и тот критик, который в своё время написал статьи “Похвала Заболоцкому” (1933), “Графоманское косноязычие” (1935), “Новые стихи Н. Заболоцкого” (1938), приняв таким образом участие в разное его “Столбцов”, “Торжества земледелия” и более поздних произведений.

– Ну, теперь он заглядит свою вину перед вами, – засмеялся Николай Корнеевич. – А заодно и пополнит свою коллекцию вашей новой книжкой.

– Всё это прекрасно, – серьёзно ответил Заболоцкий. – Но мне хотелось бы, чтобы издательство обратилось ко мне официально».

Тарасенков не замедлил написать такое письмо: на бланке издательства он черкнул несколько приветственных слов, обещая поставить книгу в план 1948 года.

Вскоре рукопись будущего сборника поступила к Фадееву. Тому книга понравилась, правда, по поводу двух-трёх стихотворений у него возникли возражения. Александр Александрович пригласил Заболоцкого к себе на дачу – поговорить о рукописи, и после разговора снял свои замечания.

В рецензии А. А. Фадеева издательству говорилось:

«Книга состоит из двух частей, внутренне связанных единством творческого отношения к миру.

Первая часть объединяет стихи, уже отмеченные нашей печатью, передающие большой пафос созидания нового мира, – они тематически связаны со строительством новой сталинской пятилетки. Вторая часть может быть условно названа “философией природы”, но своим деятельным отношением к природе она, как сказано, перекликается с первой и философски, и эмоционально.

Наконец, в книгу входит поэтический перевод “Слова о полку Игоре”, высокое поэтическое мастерство которого общепризнано.

Рекомендую книгу к изданию.

А. Фадеев

26/X – 47 г.».

Договор с издательством подписан, книга в наборе – казалось бы, всё хорошо. Но к весне, когда поступила вёрстка, положение в культурной политике страны изменилось. ЦК партии резко раскритиковал в своём постановлении оперу Вану Мурадели «Великая дружба». Оперу признали порочной и антихудожественной. Пункт первый постановления гласил: «Осудить формалистическое направление

в советской музыке как антинародное и ведущее на деле к ликвидации музыки». Разумеется, указания партии касались всех творческих Союзов – и эти Союзы стали ещё бдительней к тому, что могло быть признано антинародным. Фадеев, как писательский вождь, хорошо это понимал. Кроме того, он, наверное, помнил и другое: ещё не так давно Заболоцкого склоняли и в хвост и в гриву за такие же формалистические прегрешения. Фадеев решил подстраховаться да, возможно, заодно и уберечь Заболоцкого от новых гонений. Затребовал вёрстку и после чтения обратился с письмом в издательство, к «тов. Тарасенкову»:

«Дорогой Толя!

Когда-то я читал этот сборник и в целом принял его. Но теперь, просматривая его более строгими глазами, учитывая особенно то, что произошло в музыкальной области, и то, что сборник Заболоцкого буквально будут рассматривать сквозь лупу, – я нахожу, что он, сборник, должен быть сильно преобразован.

1. Всюду надо или изъять, или попросить автора переделать места, где зверям, насекомым и пр. отводится место, равное человеку, главным образом потому, что это уже не соответствует реальности: в Арктике больше людей, чем моржей и медведей. В таком виде это идти не может, это снижает то большое, что вложено в эти произведения.

2. Из сборника абсолютно должны быть изъятые следующие стихотворения: Утро, Начало зимы, Метаморфозы, Засуха, Ночной сад, Лесное озеро, Уступи мне, скворец, уголок, Ночь в Пасанаури.

Некоторые из этих стихов при другом окружении могли бы существовать в сборнике, но в данном контексте они перекашивают весь сборник в ненужном направлении.

Пусть Николай Алексеевич не смущается тем, что без этих стихов сборник покажется “маленьким”. Зато он будет цельным. Надо, конечно, отбросить всякие разделы и дать подряд стихи, а потом “Слово”.

Покажи это письмо Николаю Алексеевичу и посоветуй ему согласиться со мной. В силу болезни я не могу поговорить с ним лично. Скажи ему также, что о квартирных делах его я помню.

С приветом А. Фадеев.

5.IV.48.»

В итоге из двадцати пяти стихотворений осталось лишь семнадцать, – как и десять лет назад, книга стихов Заболоцкого вышла в урезанном виде. Благо, что вообще вышла, – если бы не Фадеев с его могучей поддержкой, вряд ли бы это издание состоялось. Ведь Заболоцкий только недавно отбыл срок заключения и судимость с него ещё не была снята...

Литературные критики будто бы и не заметили появления этой книги. Ни одной рецензии, на малейшего отзыва в печати!.. Лишь по прошествии времени журнал «Звезда» (№3, 1949 г.) напечатал обзор поэта Михаила Луконина под названием «Проблемы советской поэзии (итоги 1948 года)», в котором упоминался сборник Заболоцкого. Но как упоминался!.. Тут следует вспомнить, что в прежние времена именно журнал «Звезда» охотно печатал новые стихи Николая Заболоцкого. Теперь же, после разноса, устроенного в 1946 году постановлением ЦК ВКП(б), то же самое издание уже громило своего бывшего автора. Поначалу литературный обозреватель, не удостоив вниманием сами стихи, долго выговаривал главному редактору издательства «Советский писатель» Тарасенкову за его прошлые и настоящие ошибки:

«Тарасенков вполне мог бы поубавить в книге Заболоцкого “Стихотворения” гимны слепым животным инстинктам, весь этот “сумрак восторга”, как пишет

Заболоцкий. <...> Тарасенкову надо ещё и ещё подумать о своей деятельности. Не может существовать в нашей среде критик с двойным мнением, с двойным счётом. Надо, чтобы Тарасенков высказался о своих ошибках, высказался бы о деятельности критиков-космополитов и эстетов, помог бы нам яснее разглядеть врагов в нашей поэзии и сам проявил непримиримое отношение к ним».

РАППа вроде бы давно нет – но дух его никуда не делся: Луконин топорным языком, с рапповской беззастенчивостью (пролетарий как гегемон всегда прав) клеймил критика:

«<...> Я не могу умолчать тут об одном обстоятельстве, которое относится к прошлому году. В своём докладе об итогах поэзии 1947 года Анатолий Тарасенков с хорошим намерением отметить движение наших поэтов к темам послевоенного строительства незаслуженно, на мой взгляд, объявил положительным явлением стихи Н. Заболоцкого “Творцы дорог”. В этих стихах как раз есть отношение к труду, тот подход к изображению рабочих, который мы должны решительно отменить».

Лишь после этих пассажей М. Луконин, наконец, перешёл к стихам Заболоцкого, – но не к сборнику, вышедшему в 1948 году (что, собственно, было бы в согласии с темой его обзора), а к поэме «Творцы дорог», вышедшей в «Новом мире» годом раньше. В запеве поэмы ему, вероятно, не понравилось то, что рожок, созывающий на работу, поёт «протяжно и уныло», а в строфе о взрыве породы в карьере («Из недр вселенной ад поднялся Дантов») – церковное слово «ад» да ещё, видно, и само имя автора, написавшего сомнительную для *самого передового класса* «Божественную комедию»:

«<...> Да не Дантов же ад, не ад и не Дантов и ничего подобного, а просто взрывом отброшенные камни увидел поэт, а надумал, накнижничал, сам испугался и решил напугать своих читателей. <...>

Автора обуревают какая-то душевная паника, и он плохо разбирается в происходящем. Тема труда советских рабочих требует от поэзии любовного, внимательного отношения к человеку, к его устремлениям, к его идее. “Человек – это звучит гордо”, – сказано с пониманием величия людей труда. Заболоцкий заменил всё это каким-то неведомым “светлым умом”. <...>

Я уже не говорю о том, что в поэме нет никакой цели: неизвестно, что за дорога строится в таком космическом борении стихий, ради чего, что движет людей.

Нет в этих стихах ни наших устремлений, ни нашего отношения к труду, к человеку труда. Никому не нужно это иконописное мастерство, рассуждения о стихиях и толпах, о мирозданиях и прочей символической. Нам нужен советский человек во весь рост, умный и гордый человек, знающий, чему он посвящает свой труд.

Я подробно остановился на поэме Заболоцкого потому, что порочность обойдена молчанием критики, поддержана “Новым миром”, и это может повредить дальнейшей нашей работе».

Понимал ли стихотворец Луконин вообще, что в поэме шла речь о заключённых и что «двигало» этими подневольными людьми желание выжить, получить жалкую пайку, продержаться на земле ещё один день? И что работали они тем не менее не хуже всех других «гордых и умных людей труда»...

Одно ясно из его обзора: «дальнейшую работу» советской поэзии М. Луконин никоим образом не связывал с Николаем Заболоцким.

Окончание следует.

